

**Анатолий Друзенко**

**Rzeczpospolita**

**Варшавская**

**история**

*Когда уже казалось, что я  
опустился на самое дно, снизу  
постучали.*

**Станислав Ежи Лец.**

Друзенко Анатолий Иванович родился в 1940 году.  
Закончил МГУ. В 1961

– 1998 годах работал в газете “Известия”. В “Новом  
мире” печатается впервые.

Когда этот номер готовился к печати, пришло го-  
рестное известие о скоропостижной смерти Анатолия  
Ивановича. Редакция выражает искреннее соболезнова-  
ние родным и близким нашего уважаемого автора.

1976-й.

Расцвет застоя.

Брежнев еще сам застегивает ширинку.

На Пушкинскую присылают Алексеева.

Кадровик носит ему личные дела сотрудников: но-  
вый Главный знакомится с коллективом.

Редакция в шоке.

Оптимисты сокрушаются:

– Это конец!

Пессимисты успокаивают:

– Это только начало.

Новый Главный интригует Олега Павлова, спецкора-  
аграрника. Белокурая бестия, он на дух не переносит на-

чальников. Особенно тех, чьи портреты таскают на демонстрациях, и они болтаются в толпе, как... в проруби.

Обнаружив в газете некролог, Олежка оживает.

– Я всегда смотрю, – весело объясняет, – где ты, деятель, был в период с сорок первого по сорок пятый, а? Любопытная картина получается. Подгорного не забыли? Всю войну прокукарекал в тылу.

– А Машеров? – срезаю я аналитика.

– Исключения бывали, – соглашается Олежка. – Но редко.

Алексеев не из их числа. Великую Отечественную он пережил в городе-музее Самарканде, где редактировал газету. Впрочем, его вполне могли списать по зрению: на широкой переносице Главного очки с немислимым количеством диоптрий.

Смотреть в набухшие линзы страшновато. Все равно что заглядывать в душу циклопа.

Когда Алексееву приносят полосу, он мрачнеет. Зовет ответственного секретаря и, страдая от предчувствий, ввинчивает палец в строку:

– Это о чем? А это? А подробнее?

В коридорах острят:

– Бывают случаи, когда главный редактор не может писать. Но чтобы и читать не умел!

На летучку, где в меру демократично обсуждаются вышедшие номера,

Алексеев опоздал.

Дежурный критик был в ударе и чихвостил все подряд.

– Это кто? – шепотом спросил Алексеев.

– Коган, – шепотом ответили ему.

– Коган? – насторожился Алексеев. – А он откуда? Он в редакции работает?

– А как же!

Это была последняя летучка...

Установки Алексеева терзают душу, как завывания мартовского кота.

– Размышлизмы, – гудит он, нервно поправляя окуляры, – это тру-ля-ля. Главное – люди труда.

На первой полосе стали печатать мелкие, как на паспорт, фотографии.

Издали похоже на листовки “Их разыскивает милиция”. Правда, карточки изображают не преступников, а передовиков производства.

Их не пять, не десять и даже не двенадцать, а обязательно пятнадцать.

По числу входивших в Союз республик.

В том порядке, в каком они перечислялись в Конституции.

Первый ударник – из РСФСР, второй – хохол, третий – белорус, а в самом конце – эстонец.

Володя Соколов, шеф отдела иллюстраций, тоскует:

– В завтрашний номер эстонец у меня есть, а на послезавтра – йок!

В редакцию приводят американского фельетониста Бухвальда.

Алексеев представляет гостю доморощенного коллегу, сообщая с мальчишеской радостью:

– Ему на днях орден вручили.

Американец в изумлении:

– У вас фельетонистов орденами награждают?

– И медалями тоже! – сияет Алексеев.

Олежка направляется в редакционную парикмахерскую, но его останавливают:

– Туда нельзя.

– Почему?

– Сегодня стрижется Главный.

– Когда?

– Пока неизвестно. Завтра приходи...

Мэлор Стуруа заявляет на партийном собрании:

– В редакции повеяли свежие ветры.

Его назначают членом редколлегии. С привилегиями – как у замминистра.

Кадровая революция, о неотвратимости которой шуршали в коридорах, началась.

Есть организаторы жизни, есть – исполнители.

Я, увы, из второй категории.

К тридцати пяти годам мое жизненное пространство составляли: город Ровно в Западной Украине и жившие там родители, а в Москве – жена, двое детей, парализованная теща, дворняга, отзывавшаяся на кличку Барон,

сборник очерков “Дорогу осилит идущий”, двухкомнатная квартира в Бескудникове, вторая модель “Жигулей” морковного окраса, сосед Семеныч – гальваник секретного завода,

Центральный Дом журналиста, приятели, которых жена называла “собутельниками”,

Оружейные бани, ишемическая болезнь сердца, приз лучшему игроку футбольного матча журналистов Москвы и Грузии, редакция на Пушкинской площади и должность заместителя заведующего отделом морали...

Живем мы не бедно, не богато, а от полочки до полочки.

Прибамбасы Ларисы делают квартиру вполне.

Иногда в гости протискивается Семеныч.

Приступаем тайком.

По Закону Подлости в комнату заглядывает жена.

Секретный гальваник прячет за спиной бутылку, с ангельским видом разглядывает стену и, указывая черным пальцем на горшок с кактусом, кричит:

– Ну, ты, Лар, декоративщица!

– Ладно вам, – оттаивает жена, – идите на кухню, сядьте как люди, возьмите в холодильнике.

Холодильник “ЗИЛ”, телевизор “Темп”, чешский гарнитур приобретены в рассрочку...

Тянется к финишу второе тысячелетие.

Заполонившая шестую часть земной суши, страна развитого социализма – запускает в космос Гагарина, сажает в колонию общего режима Синявского и Даниэля, исполняет в Афгане долг, торгует финской салями в сек-

ретном магазине на улице Грановского, восхищается книгой “Малая земля”, рубит просеку от Байкала до Амура, лакает ежегодно по сорок литров алкоголя на душу населения и подумывает над тем, чтобы повернуть вспять сибирские реки...

Алексеев сразу положил на наш отдел глаз. В буквальном смысле. Мы поставляем на полосы пространные по форме и сомнительные по содержанию очерки. Ему трудно их читать.

Все уверены, что дни “моралистов” сочтены.

Плюнув на апокалипсические ожидания, я уезжаю в отпуск.

Отдых в Ровно осуществляется по обычной программе. Срезая шляпку подберезовика или объявляя мизер, я возвращаюсь мыслями к будущему.

Не всеобщему светлomu, а к своему – неопределенному.

Отца, в мои дела не вникавшего, занимает политика. Особенно в международном разрезе: на орехи достается и Брежневу, и Рейгану.

Мать ощущает мою маету, спрашивает, но я отнекиваюсь.

Неожиданный звонок Олежки из Москвы:

– Тут тебя народ в партийные секретари сватает.

– Ты вчера не того?

– Обижаешь.

Выхожу на балкон и тупо смотрю вниз, где под надежной яблоней отец с приятелями – бывшими защитни-

ками государственной безопасности – стучит костяшками домино.

В сентябре в редакции ожидается отчетно-выборное собрание, а я состою в партбюро.

Однажды мне даже доверили председательствовать на собрании.

– Хвост пистолетом! – подбадривал инструктор райкома, доставая из ящика самоучитель “Как вести собрание”. – Тут все написано.

В брошюрке с грифом “Для служебного пользования” было напечатано, что надлежит говорить председательствующему – не отвлекаясь:

– Есть предложение начать собрание. Кто за? Против? Воздержался?

Единогласно!

И так – по каждому вопросу:

– За? Против? Воздержался? Единогласно!

Блажен, кто верует, что все это кануло в Лету...

Вернувшись в столицу, бросаюсь в объятия друзей.

Обнявшись, как родные братья, мы шагаем по осеннему Тверскому в Дом журналиста.

Если хватает купюр, поднимаемся в ресторан. С меньшим достатком спускаемся в пивбар.

Дым коромыслом, гул, байки, мелкое диссидентство, фальшивые истерики, море бравады.

Под занавес ночи, останавливая такси, падаем на капоты, как на амбразуру...

Глядя на мои утренние мучения, жена вздыхает:



– Если бы ты знал, что вчера нес!

В редакции не жизнь – кадровый пасьянс.

Народ продолжает пророчить мне партийную карьеру, но, кажется, подобный поворот не входит в планы Главного.

Кто знает, чем бы все обернулось, не натолкнись на меня в коридоре вызванный из Варшавы собкор Ермолович.

– Как вы тут? – дипломатично поинтересовался почивающий на лаврах

Николай Николаевич – его назначили членом редколлегии.

Я развел руками.

– А как вам Варшава? – внезапно спросил Ермолович.

Я оторопел:

– Съесть-то он съест, да кто ж ему дать!

– Не скромничайте, – дружески улыбнулся “поляк”.

Утром трубку разрывает бас Новикова, заместителя Главного:

– Что ты там комбинируешь? А ну зайди.

Не поздоровавшись, спрашивает:

– Ты действительно хочешь в Варшаву?

Я молчу.

Новиков тянется к красному телефону:

– Петр Федорович, он у меня. Хорошо, сейчас.

Покачиваясь, как утка, Алексеев ходит по кабинету, запрокидывает покрытую перхотью голову, сверкает набухшими стеклами окуляров и пророчествует:

– Польша – это же так интересно!

Я весь в отца.

Уезжая в командировку – всего-то на два дня, в район, – он с утра терзал маму:

– Поезд уже отходит!

С годами и я, покидая дом, стал паниковать.

Тем более – на этот раз.

Не в район собрался – в заграничную, хоть и братскую, страну.

Не на экскурсию – работать; как это выглядит, я понятия не имел.

Не на пару деньков – минимум на три года...

Провожался – под лукавые тосты, слезливые целования, бессмысленные наставления.

– Главное, старик, – тарыхтит Олежка, – ничего из себя не изображай.

А с какой стати? Курица – не птица, Польша – не граница.

С удивлением смотрю на друзей. Они будто за стеклом, по которому струится вода.

А я уже ТАМ.

Для начала отправляюсь один – осмотреться.

Поезд отходит от Белорусского вокзала и называется “Полонез”: сразу ясно, куда его несет.

Оглушенный пробоводами, я гляжу в окно, прикидывая, какие проблемы ждут меня за Бугом.

Что, собственно, я знаю об этой стране?

Ну, конечно – Лжедмитрий! Привел их в Россию. А Сусанин – потом – завлек в непроходимые болота.

Еще маршал Сейма. Стучит посохом, а супернезависимый депутат кричит из зала: “Не согласен!” Вето – оно и есть вето.

Само собой, Коперник: первым понял мужик, что планеты вращаются вокруг Солнца.

Костюшко: отстаивал независимость... Америки.

Мицкевич с Пушкиным дружил.

Полонез Огинского.

Дзержинский.

Варшавское восстание.

Лято, Дейна, Шармах – олимпийские чемпионы по футболу.

Берут, Гомулка, Герек – вожди.

Ансамбль “Червоны гитары”.

Косметика фирмы “Полена”.

Кажется, все...

В Бресте меняем колеса.

– Буты, – поясняет сосед по купе.

– Что?

– Поляки так колеса называют. И туфли. Поговорка есть: у поляка даже бут – пан.

Над продрогшей Варшавой висит оранжевый блин.

На Центральном вокзале встречают коллеги.

Кое-кого я знаю.

Ермолович приехал загодя, чтобы подготовить корпункт к сдаче.

Суетливо обнимаюсь с Саней Рогожиным, сокурсником, а теперь – корреспондентом ТАСС.

С Костей Щербаковым студентами отбывали сенокосную повинность под

Можайском. Здесь он представляет малопонятную организацию с протяжным, как вздох, наименованием – ВААП. Ему завидуют. И как не завидовать, если у человека одна задача – накрывать за казенный кошт, налаживая контакты с капризной польской интеллигенцией.

Вялотекущий мальчишник в корпункте.

Накануне они ездили гуртом в Люблин и теперь подначивают друг друга:

– А ты вчера здорово выступил!

Разбежались быстро...

Началась рутина.

Ермолович пишет акты – на каждую строку в инвентарной ведомости: от автомобиля “Волга” до обувной щетки. Я перепечатаваю на машинке, после чего подписываемся: “Ермолович сдал, Друзенко принял”.

Коктейль в посольстве.

Закуску купили на рынке.

Выпивку я привез из Москвы. Сопроводительная бумага разъясняет: "Для представительских целей". Обыкновенная водка, а как звучит!

Среди гостей самая величавая – в буквальном смысле – певица Анна Герман.

Мужа – он ей по плечо – представила:

– Пан инженер.

Похожий на воблу советник по прозвищу Птичкин, которого все считают резидентом, толкнул спич.

Перед этим несколько раз подходил, спрашивал:

– Извините, как ваша фамилия?

Все равно перепутал...

Утром в корпункте не умолкает радио, а по вечерам – телевизор.

Вживаюсь в ауру чужой речи.

Бесконечная "угадай-ка".

"Неделя" у поляков не неделя, а "воскресенье", "ютро" – не утро, а

"завтра", "кавер" – не ковер, а "икра", "диван" – не диван, а

"ковер", "крават" – не кровать, а "галстук", "склеп" – не могила, а

"магазин", который в свою очередь не что иное, как "журнал".

Отовсюду – вежливый шелест: "проше... проше... проше" (пожалуйста).

Когда злятся, вспоминают почему-то про бледную курицу:

– Курча бляда!

Ничего не напоминает?

Один пан просит у другого в долг, а у того – пусто. Что говорят в таких случаях?

– Не могу.

Поляк говорит:

– Трудно.

Приветствие:

– Припадаю к вашим ногам.

Ответ:

– А я уже лежу у ваших.

К подполковнику обращаются – пан полковник, к вице-премьеру – пан премьер, к вице-министру – пан министр.

Наш замминистра приехал, услышал – чуть с ума не сошел. В Москву звонил, справлялся.

На футболе о мыле – ни слова. Кричат:

– Судья, к телефону!

Беру интервью у министра. Тот жалуется:

– Извините, у меня после вчерашнего страшный кац.

У нас это фамилия, у них – похмелье.

Пытаюсь представить, как иностранный корреспондент приходит к нашему министру и тот – признается...

Курица, может, и не птица, а они...

Кто не удивляет, так это свои.

По понедельникам – иезуитство.

К 9.00 – после двух выходных! в обязательном порядке! – приглашают в посольство.

Токуют в зале, где специально обработанные стены исключают возможность подслушивать.

Все равно конспирируются: Польша – “страна пребывания”, поляки -

“друзья”.

Друзья считают... друзья недооценивают... у друзей проблемы...

Посол, бывший белорусский премьер, сидит монументом. Прозвище ему дали – в самую десятку! Вроде ничего общего, а до чего ж подходит -

Дуче.

Посольские делятся на три категории.

Карьерные дипломаты модно одеты и прилично говорят по-польски.

Те, кто под “крышей”, развязно общительны.

Остальные – молчаливы, затравлены и в серых костюмах. Приехали вслед за Дуче и говорят с певучим испугом.

Жен корреспондентов пригласили на прием, чтоб – заодно – помыли посуду.

Вечерами все сидят по домам: ни в кино, ни в театр.

Злотые меняют на чеки Внешторга. Копят на машины.

Из отпуска везут чемоданы консервов. Все равно недоедают. У детей случаются голодные обмороки.



# КУРИЦА – НЕ ПТИЦА...

Пока не прибыло семейство, мое одиночество скрашивает Саня. Заглянет по-приятельски, – шагает на кухню, достает из кейса, хотя у меня тоже есть, в холодильнике.

Режем колбасу. Я жарю глазунью. Саня смачно закусывает и водит меня коридорами новой жизни.

Если засиживаемся, звонит его верная Татьяна:

– Вы там не очень?

Саня со мной раскрепощается.

В отличие от других, которые могут догадываться, я – знаю.

Не за красивые же глаза его после журфака отправили в Штаты, в аспирантуру какого-то университета?!

Я на американских аспирантов в общежитии на Ленгорах посмотрелся. За версту несло разведкой. А Саня чем хуже?

Меня самого – два раза совращали.

Сначала – на факультете, потом – в редакции.

Рыжая Валентина, секретарь учебной части, отловила в коридоре и потащила к себе. Там, смущаясь, представила невзрачному человеку с размытыми чертами и удалилась.

Безликий товарищ завел туманный разговор, спрашивал, как я отношусь к работе за границей. Напирал, что я подхожу по характеру, внешности, что они знают про отца.

Пришлось притворяться наивным.

Сказал, что на меня пришел вызов из большой газеты, что главным там

– Аджубей и что я давно мечтал работать исключительно под его неослабным руководством.

Товарищ, услышав про зятя Никиты Сергеевича, вздохнул, пожелал удачи и ретировался.

Во второй раз – уже в редакции – отбояриться было сложнее.

Такой же неразличимый собеседник вцепился, как клещ, хоть изъяснялся полупонамеками.

Я тянул с ответом. Сказать “нет” не хватало духу.

И вдруг – эврика! – вспомнил про очки.

Когда я под стол пешком ходил, на правом зрачке появилось бельмо.

При немцах было, в оккупацию, а тогда – да еще в деревне – какие врачи!

По совету старух мама вдула в глаз сахарную пудру. Бельмо пропало.

Но зрение...

Я скорчил скорбную мину, намекнул, что не исключена полная потеря, и от меня отстали.

Иногда пытаюсь представить, какой Штирлиц из меня получился бы, но ничего, кроме нелепых паролей, в голову не приходит...

Поглощая глазунью, Саня жалуется на коллег:

– Думают, я в их рюмки заглядываю. Идиоты! Не было печали.

Первое задание. Срочное. Взять интервью у Брыльской.

Сначала растерялся. Потом узнал адрес и телефон.

Согласилась с удовольствием. Назначила на вечер.

Я – к палочке-выручалочке.

– Конечно подвезу, – пробурчал Саня.

Высадив меня в новом микрорайоне, приятель умчался по своим секретным делам.

Стою, кручу головой: все дома одинаковые.

Вспомнил героя “Иронии судьбы”: еще не туда попаду.

Нашел!

Пани Барбара смотрит с удивлением.

А все мое старое, “райкомовское”, до пят, пальто! И – дурацкая шляпа.

Пробую отшутиться:

– Вам легко будет запомнить мое имя.

– Почему? – удивляется.

– Шляпа пана Анатоля!

Был такой популярный польский фильм.

Улыбается. Чуть-чуть. Выглядит усталой. Даже измученной.

Ничего от звезды.

Говорит откровенно.

Даже о ревнивом муже.

Ставит на стол бутылку коньяка.

Задаю банальный вопрос – насчет свободного времени.

Взрыв:

– О чем пан говорит! Я как загнанная лошадь. У меня только на съемках свободное время!

Под ногами вертится четырехлетняя Бася. Капризничает. Покажет свои рисунки, а потом – рвет.

(Через восемнадцать лет она погибнет в автомобильной катастрофе.)

Невеселый разговор.

А сочинить надо веселенькое.

Перед Рождеством – наконец-то! – приехала семья, прихватив советскую дворнягу Барона.

Католический вариант праздника разочаровал. Думали – всенародное гулянье, а город – вымер.

Отмечают по домам. За столом – только свои. На столе – карп.

Через месяц Оксанка объявила:

– Мне сон по-польски приснился.

Егор обзавелся друзьями – Рысек, Войтек, Яцек...

Они зовут его по-своему: Игор.

Вскоре позвонили в дверь и огорошили Ларису:

– Пусть пани подтвердит, что Игор – не поляк, а пани сын...

Каждая жена собкора – секретарь корпункта. Даже зарплату платят – символическую.

Общаться с другими секретаршами Ларису не тянет.

Вечные ахи-охи, жалобы, склоки: кто где был, что сказал, что купил, сколько выпил...

Корпункт расположен в квартире. Работаешь, где живешь.

Испытание: изо дня в день, из ночи в ночь друг у друга на виду.

Высоцкий пел: "Придешь домой, там ты сидишь".

А тут – никуда не надо приходить.

Иногда, обрывая ссору, я кричу в сторону люстры:

– Прошу не вмешиваться в мою семейную жизнь!

Ларёк смеется – сквозь слезы...

На приемах занимает, как устраиваются те, кому полагается выведывать секреты.

У поляков? Без водки? Пустая затея!

Пьют и при этом лыко вяжут.

Саня разъяснил:

– Масло глотать на пустой желудок, сметаной запивать – все это, старик, чушь. Самое простое природное средство...

Я напрягся.

– ...Закусить обыкновенным яблоком.

И точно! Заканчивает посол спич-тост, все кидаются к столу, пьют, закусывают. Любители балычком, севрюжкой балуются, а профессионалы яблочками хрустят.

Обычно на приемах я пристраиваюсь к Косте.

Лучший друг польской интеллигенции (и будущий заместитель министра бедной российской культуры) употребляет безобидный – на первый взгляд – коктейль.

Берешь бокал и – пятьдесят на пятьдесят: кока-колы и водки. Стоишь, весь из себя пристойный, и вроде как заморскую шипучку попиваешь.

А если бокал уже пятый?

У каждого из собкоров – служебная машина, но – без шофера, за исключением правдиста Лосото.

Одно искушение цепляется за другое. Сесть за руль? Естественно!

Выпить? Ну, по чуть-чуть...

Рискуют отчаянно.

У Степы Клишко это пятая вылазка за кордон.

После приема его в бессознательном состоянии волокут к машине, вталкивают на сиденье, кладут руки на руль и кричат в ухо:

– Домой!

Едва пальцы Степана касаются обода, он дергает головой, как собака, стряхивающая капли дождя, и заводит мотор.

– Не доедет! – шепчу Косте.

Тот успокаивает:

– Такого еще не бывало.

До Варшавы я понятия не имел, что такое юридическое лицо, обладающее к тому же счетом в заграничном банке.

Теперь, составляя финотчет, терзаюсь ожиданием: сойдется дебет с кредитом или не сойдется?

Иногда жена-секретарь, загоревшись, предлагает открыть сейф и взять зарплату вперед.

Я завожусь с полуоборота:

– А если завтра отзовут?

Ремонтировать машину в частных мастерских надежнее, а главное – дешевле. Но бухгалтерия – в Москве – не доверяет распискам частников.

В государственном автосервисе нас встречают намекающими взглядами.

И понеслось! Пану директору – бутылку, пану мастеру – вторую, слесарям – еще пару. Я злюсь: к отчету их не приложишь...

Не знаю, с какой такой стати, но меня избрали секретарем партбюро журналистов.

Главное в партийной работе – сбор взносов и доставка их в партком, приютившийся в здании посольства на улице Бельведерской.

Над секретаршей, принимавшей от сердца оторванные золотые, висит

“График сдачи”.

Перечисляются партийные ячейки:

“Посольство (дипсостав),

Посольство (техсостав),

Торгпредство,

ГКЭС,

Дом советской науки,  
Журналисты...”

В конце – неожиданно:

“Инспекция”.

Ёрничая:

– Это что – санитарная инспекция?

И сталкиваюсь с таким взглядом, что впредь, отправляясь в партком, оставляю юмор в корпункте.

Обычно партийцы сдают взносы после собраний.

Собираемся у тассовцев. Они занимают часть двухэтажного дома на улице Литовской, напротив легкомысленного театра-кабаре “Сирена”.

Я сразу даю слово Лосото. В кино про революцию он мог бы сыграть меньшевика: черная пупырышка бородки, лихорадочный взгляд, значительность человека, якобы знающего больше других.

За ним выступает Дима Бирюков – представитель Гостелерадио и большой дока в формулировках.

Активный оратор – Глеб Долгушин, известный в нашем отечестве репортер, побывавший на Северном полюсе и в Антарктиде (так и хочется написать – “одновременно”).

Шеф тассовцев – Толя Шаповалов – тянет руку неохотно, по необходимости. Его перебросили в Польшу из монгольских степей, и с крестьянского лица Петровича не сходит выражение крайнего изумления.

Прения сворачиваем, и я распахиваю ведомости.



Подходят по одному, и каждый с суровым видом героя расстаётся с парой тысяч злотых.

Жизнь за границей постепенно становится просто жизнью.

Наш дом – пятиэтажная новостройка с протяжными лоджиями, напоминающая пароход, – на Свентокшиской улице.

Центр города.

Рядом – Маршалковская, Дворец культуры – будто прибежавшая из Москвы высотка, Саксонский сад, могила Неизвестного солдата, Мокотув, поднявшийся на месте сожженного гетто.

Уцелела только синагога с башенкой. Стоит – вся в строительных лесах. Злые языки твердят, что евреи со всего света из года в год присылают деньги на восстановление, но их почему-то не хватает.

Корпункт регулярно заливают живущие этажом выше иракцы – толстяк из торгпредства, его вечно кутающаяся в платок жена и выводок голосистых ребятишек.

Тадеуш – хмурый домоуправ – оправдывается:

– Проше пана, я бессилен. Я звонил в их амбасаду. Меня послали. Что теперь – Хусейну писать?

У меня появился первый приятель-поляк и первая любимая точка общепита.

С Яном познакомились случайно. Разговорились в сквере возле Железных

Ворот, прогуливая родившихся в разных странах собак.

– Что за порода? – интересуется Ян, загоразивая корпусом свою рыжую, похожую на вытянутое тире таксу и оглядывая статного Барона.

– По-моему, – тяну я, – это австралийская... – и – после паузы, –

...дворовая.

Ян кисло смеется.

Представился.

Живет в соседнем доме. Жена – Гражина – домохозяйка. Сын Рышард – прекрасно знает моего Егорку.

Ян понимающе не интересовался, чем я занимаюсь, хотя поначалу, видимо, подозревал наличие погон.

Сам открывался постепенно.

Погоны-то были как раз у него: подполковник, технарь, из академии.

А точкой, где я отходил от трудов и успокаивал нервы, стала пивная на Свентокшиской: обычная, забравшаяся в подвал общипанного войной дома, накачанная перегаром и дымом от дешевых сигарет.

Как-то, выходя оттуда, я столкнулся с Яном.

– Ты? – Он остановился как вкопанный.

– А что?

– Здесь же одна пьянь!

– По-моему, здесь, – я ткнул пальцем в сторону стеклянной двери, – великий польский народ.

– Народ работает, а тут – сосут мочу. Будь моя воля, я бы построил резервации.

- Не понял.
- Резервации построил бы.
- Для пьяниц?
- И для бюрократов! – Приятель взбирался на любимого конька. -

Представляешь, какая жизнь пошла бы у великого польского народа!

В Москву – не начальству, приятелям – звоню редко.

Из скомканных ответов чувствуется: гайки затянули капитально.

У меня – наоборот. Польша пробудила чувство свободы. Относительной, конечно.

Я уже понял, почему собкоры, возвращающиеся из зарубежья к родным пенатам, выглядят шикарно, но у каждого дергается глаз.

И прикидываю на досуге: “Штирлиц был под одним колпаком. А у меня их сколько? Редакция – раз, посольство – два, здешняя безпека – три”.

И все равно – дышится легче.

Курирующий нас – легально – Интерпресс организует выезды на периферию.

Начинается уже в автобусе: байки, шутки, подначки...

Наверное, со стороны это выглядит забавно: дети разных народов – американец, немец, венгр, грек и даже китаец – говорят на странном языке, который при тщательной экспертизе оказывается польским.

И что самое поразительное – понимают друг друга.

Встречи, экскурсии, походы по цехам, обеды, ужины.

А если с ночевкой!

В клуб Интерпресса я хожу с удовольствием – не то что в посольство.

– Привет, товарищ Нормально! – бросается навстречу болгарин Кирилл, довольный тем, что дал новичку такое удачное прозвище.

Подслушал, шпион-самоделка, что я на все вопросы отвечаю этим словечком. А что? Нормально.

К лицу корреспондента Синьхуа Ли приклеена улыбка.

Он приезжает в клуб на “вольво”. Молчаливый шофер оббегает машину и услужливо открывает дверцу.

Случайно я стал свидетелем странной сцены в туалете.

Маленький Ли замер, виновато опустив голову, а шофер отчитывал его.

Увидев меня, они тут же поменяли диспозицию.

У “капиталистических” журналистов злотых куры не клюют. Отсюда – некоторое высокомерие. Но, чувствуется, ребята – в отличие от меня – профессионалы.

Знают Польшу отлично и копают глубоко.

Меня встретили с подозрением. Что поделать! В каждом из нас им мерещится “Кэй Джи Би”...

Но общаемся нормально, я бы даже сказал, весело – с ироничным

Бобиньским из "Файнэншл таймс", с вечно куда-то убегающим Джорджем из Ассошейтед пресс, с женившимся на польке Бернаром – корреспондентом "Фигаро".

Идеологические перепалки случаются редко. Как правило, при ужине.

Виртуозно наливая, всех мирит Эмиль – добродушный, свой в доску сотрудник Интерпресса по прозвищу Десантник.

Местному начальству от "капиталистов" достается. Особенно от

Бобиньского.

Встречаемся с главным партийным секретарем в Лодзи, приступаем к вопросам.

Поляк из "Файнэншл" – это особенно заводит хозяев, что поляк – с улыбочкой: так, мол, и так, известны славные революционные традиции лодзинского пролетариата, а как вы их приумножаете сегодня?

Коллеги из соцлагеря сопят, уткнувшись в блокноты.

"Капиталистические" акулы пера ухмыляются.

Хозяева нечленораздельно мычат.

Ясно, что не о давних, 1905 года, забастовках речь, а о недавних -

1970-го и 1976-го.

Тут о них – полный молчок. Как не было...

Или в Гданьск приезжаем – красота!

Старый город, дома как на гравюрах, фонтан с Нептуном, кормят в шикарном рыбном ресторане.

Душа витает в облаках, а Бобиньскому – нейметя.

Тянет руку, младенца из себя строит: мол, когда же поставят памятник рабочим, которых расстреляли в декабре 1970-го? И чей пулемет поливал очередями из чердака ратуши?

В доме хозяина – и о расстреле!

Испортил обед...

Телевидение прерывает передачи. У диктора срывается голос:

– На Святом престоле – Кароль Войтыла!

Выхожу на лоджию. Открывшаяся панорама потрясает.

Вмиг сотворенное, лихорадочно-счастливое столпотворение.

Остановившиеся трамваи, автобусы, машины.

Просветленное безумие толпы. Все – стар, млад – обнимаются, целуются.

Женщины плачут. Выкрики, словно блики вспышек:

– Да здравствует Папа!

Четыреста лет понтификами были только итальянцы.

И вдруг – с чего бы это? славянин... поляк... краковский кардинал.

“Что я знаю об этом? – терзаю я себя не понапрасну. – Ну, стоят костелы, сверлят иглами небеса. Ну, ходят туда толпы людей – и что?”

Наш атеизм заварен на незнании. Потому невера наша хрупка”.

Власти от ватиканской новости в ужасе.

В посольстве – паника: Войтыла – он же из непримиримых!

– Одно дело, – покашливая, бурчит Ян, – краковский кардинал и совсем другое – Римский Папа.

В Интерпрессе подкатывается сияющий Джордж. Хлопает по плечу, приглашает в бар, подмигивает:

– Один – ноль в пользу Бжезинского.

Пожимаю плечами.

– Збигнев определил условия, при которых Польша покинет ваш лагерь.

На первом месте – усиление позиций костела. А куда уж дальше, если

Папа – свой!

– Бред.

– Ну-ну! – Джордж смотрит острыми, живущими отдельно от лица глазами.

Масса эмоций вокруг биографии нового Папы. Она мгновенно обросла легендами.

Родился он в горах, в городке Вадовице.

Туда уже устремились толпы. А что будет дальше?

В годы оккупации двадцатилетний Кароль Войтыла работал на каменоломне под Краковом.

Писал стихи, драмы – на библейские темы.

Был актером (!) подпольного театра.

Говорят, горячо любил девушку, расстрелянную гитлеровцами.

После этого решил стать священником.

Учился в семинарии, в Риме.

Профессор богословия.

Владеет десятком, если не больше, языков.

Увлекается горным туризмом.

Ездил на Повонзки – главное варшавское кладбище.

День поминовения.

Трогательный, человечный обряд.

Мириады горящих свечей на могилах.

Обряд семейный. Интимный. Трезвый...

У нас такого нет. Жаль.

В конце Иерусалимских Аллей – бетонный куб  
Центрального комитета ПОРП.

Товарищи регулярно собирают “братских” журналистов, чтобы проинформировать, как идут дела.

Журналистика, которой я занимаюсь, не только точная, но и па-точная.

В девять утра из Москвы звонят стенографистки и принимают заметки.

Уже уехавший домой Ганушкин из “Комсомолки” оставил афоризм: “Хорошо работать корреспондентом за границей. Одно плохо – заметки иногда надо составлять”.

Строчки наших сочинений слаще халвы: о братьях по лагерю, как о покойнике, – только хорошее.

Так бывает в кинотеатре: ломается аппарат, и на экране бежит – то в половину, то в четверть кадра, дергаясь, гримасничая – перекошенная жизнь.

Пыхчу, как паровоз, загнанный в тупик.



Классик рекомендовал по капле выдавливать из себя раба.

Я не могу выдавить цензора.

Шурует в голове, как черт в табакерке:

# НЕ ПРОЙДЕТ, НЕ ПРОЙДЕТ, НЕ ПРОЙДЕТ...

Перед новым, 1979 годом наступил конец света.

Город замело, и он остолбенел.

Трамваи застревали в заносах.

По телевидению объявили: острая атака зимы.

Очумелым от метели гражданам сообщили: на работу можно не выходить.

На улицах – редкие добровольцы с лопатами.

Информация напоминает фронтовые сводки: в сторону Кракова поезда с углем и хлебом прошли, на Гданьск – застряли.

Ударили морозы. Дворников умоляют заделывать щели в подъездах.

Острят: у нас четыре стихийных бедствия в году – зима, весна, лето и осень.

Позвонил Ермолович:

– Как вы там?

Я хорохорюсь:

– Нормально. В корпункте градусов пять. Сижу в пальто.

– Надо переждать. Не захворайте там!

– Постараемся.

Подошел к окну.

Несколько грузовиков со щитами кружили по рондо, сгребая снег на обочину. Редкие прохожие семенили через улицу.

Представил, как Бернар передает репортаж в “Фигаро”, и пошел к холодильнику: там еще оставалось от новогоднего стола.

Спустился в киоск “Руха” – за газетами.

Петляя между сугробами по узкой, с провалами, тропе, увидел ползущего по-пластунски старика.

Зачем?

Присмотревшись, понял. Старик упорно передвигал тело к пустой бутылке, торчавшей из снежной горы.

У киоска ни души.

Когда спрашивают газету “Жиче Варшавы”, второе слово не произносят.

– “Жиче”, – говорю.

– Какая жизнь, проше пана! – тарашится Богуслав, хозяин киоска. -

Нет никакой жизни.

– Еще не привезли?

– А что пан редактор хотел? Они хлеб развезти не могут!

Увидев меня впервые, Богуслав не скрывал удивления: пан совершенно не похож на пана Ермоловича!

Не от него первого я это слышал и злился: почему я должен быть на кого-то похожим?!

Богуслав уже в годах, но выглядит молодцом. Впечатление меняется, когда он выходит из своей будки: поскрипывающий протез, палочка в руке, одышка.

Глядя на него, я вспоминаю Михаила Владимировича, нашего учителя словесности. После ранения ему ампутировали ступни, и он ходил с тростью, элегантно выбрасывая ее вперед.

Однажды в годовщину восстания мы столкнулись с Богуславом в пивной.

Он разговорился:

– Я в специальную группу входил. Ликвидаторов. Не дай Господь...

Профессионально осушив кружку и смахнув пену с верхней губы, продолжил:

– Мы ликвидировали провокаторов. Помню, как пристрелил потаскуху.

Она двух наших выдала немцам. Упала, обхватила мои колени. А я что?

Молодой! Нажал курок – и готово. Теперь снится, курва...

Наконец стихия выбилась из сил, и об острой атаке зимы забыли.

Терпел я, терпел и в конце концов занялся ремонтом своей "Волги".

У нее дырявый глушитель, и она ревет, оправдывая прозвище: самый легкий в мире танк.

В Варшаве первый месяц я к машине не подходил.

За руль силком меня усадил Прокофьев, оператор Центрального телевидения.

Ездили с ним по утрам в воскресенье, когда героический город дрых почему зря.

Затем я приступил к самостоятельным вылазкам. За мной увязывался Егорка.

– Сына угробишь! – волновалась жена.

Выезжаем на рассвете.

Мост через Вислу, по набережной, дальше – широкие, в асфальте, аллеи вокруг огромной арены.

У стадиона – переходный период: спортивным сооружением уже перестал быть, а барахолкой – еще не стал.

Я наматываю круги.

Егор просится на колени, чтоб подержаться за руль – на ходу.

– Нельзя, – огорчаю любимого сына.

Он сопит, вот-вот заплачет. Вдруг спрашивает:

– Пап, а ты шофер начинающий или кончающий?

Ах ты мой сероглазый предсказатель!

“Волга” попалась с дурным характером, и я снова обратился к Прокофьеву.

Не только классный оператор, но и лихой шофер, Юра знал всех лучших в Варшаве автолекарей.

И его, кстати, многие знали: Прокофьев часто появлялся и на польском телеэкране.

Гаишники останавливали и, узнавая: "О, пан редактор!" – брали под козырек.

...Осмотрев мотор, Юрий ставит диагноз:

– Это не машина. Это могила неизвестного собкора.

Едем в сервис.

Восторженные объятия с паном директором, бутылка "Столичной", машину поднимают вверх, и уже польский Кулибин качает головой:

– Странная у вас, у русских, система.

– Система зажигания? – подмаргивает Юра.

– Ага, – гогочет слесарь. – У нас тоже с зажиганием что-то не то.

Жена Герека в Париж летает за парфюмерией, а сын премьера в

Монте-Карло денежки из казны проматывает.

Удивляюсь их откровенности.

То Ян такое загнет – хоть стой, хоть падай.

Или – этот слесарь.

Или – Богдан, редактор братской газеты. Номенклатура – а туда же!

Придет, расслабится и, полулежа в кресле, разносит власть в пух и прах.

Я показываю пальцем на люстру.

Отмахивается:

– Нехай...

А какой это праздник души – выезжать из ворот автосервиса на отведавшей ремонта машине!

Двигатель работает как часы.

“Волга” благодарно послушна – то скользит, обгоняя, то послушно застывает перед красным зрачком.

Рядом – выдавший виды “Фиат-126П” по прозвищу “малюх”.

Зеленый все не зажигается.

Смотрю на пристроившуюся сбоку малышку.

В салоне две монахини в черных сутанах и белых развесистых накидках.

Жестикулируют.

Одна закинула голову – хохочет.

Я фантазирую: угнали машину и носятся по Варшаве.

Что поделаешь – весна!

Интервью я задумал еще в Москве.

Сказал Птичкину.

– С Кохом? – Сублильный советник скользнул удивленным взглядом. -

Ничего не обещаю, но попробую.

Пытаюсь представить, как выглядит бывший гауляйтер, как пойдет беседа, говорит ли он по-польски, вспомнит ли, как летом 1943-го принимал в Ровно обер-лейтенанта Зиберта...

Мне даже приснилась наша встреча.

Капрал в мятой конфедератке ввел худого старика. В его лице было что-то птичье – желтые, как у совы, гла-

за, сужающийся книзу нос, едва видимая щелочка губ и острый, выдвинутый вперед подбородок.

– Обер-лейтенанта не помню, – отвечал старик, – хотя на суде мне о нем говорили. Покушение в Кёнигсберге помню. Почему меня не расстреляли? Молодой человек, я мог бы стать вторым графом

Монте-Кристо, если бы не...

Сон оборвался. Я приподнялся и уставился в черноту варшавской ночи...

И увидел... Ровно в 1945-м.

Единственный кинотеатр назывался "Партизан".

Двери из зала – прямо на улицу: днем в щели протискивался, мешая смотреть, режущий свет.

Стены узкого вестибюля украшали фотопортреты кинозвезд. Снимки были черно-белыми, но местный, рисовавший афиши самородок разругал знаменитостям щеки и губы, что придало шалопаистому Алейникову, суровому Борису Андрееву и даже неземной красавице Ладыниной идиотский и ангельский вид одновременно.

В буфете торговали газводой с капавшим из стеклянной трубы сиропом и

– божественного вкуса мороженым.

Все в кинотеатре было по-домашнему, и никто никому не удивлялся.

Даже когда в захватывающий момент "Подвига разведчика"...

– Здесь продается славянский шкаф?

– Шкаф продан, имеется никелированная кровать.



...из фойе вдруг доносился стук деревянной ноги, приоткрывалась дверь, и билетер-инвалид скрипуче объявлял:

– Док-тор Фэй-штэр, на ви-ход!

А подвиг разведчика продолжался для нас и после фильма.

Мы вываливались из кинотеатра на уложенные брусчаткой улицы, знакомо ступали по тропам, петлявшим вдоль берега речки с незатейливым названием Устье, и видели все заново – уже не на экране.

Ведь именно по этим улочкам мчался на “опеле”, скрываясь от погони,

Кузнецов в облике обер-лейтенанта Зиберта.

И не в кино – в жизни, всего-то год назад, здесь, на улицах Ровно, убивал вражеских генералов, а одного украл с потрохами и увез к партизанам.

Книгу о разведчике я знал наизусть.

Магнитом притягивало меня его неудавшееся покушение на Коха.

И надо же: гауляйтер до сих пор жив и сидит в варшавской тюрьме!

Эрих Кох – ближайший соратник Гитлера – часто выполнял его особые поручения.

Летом 1939-го докладывал:

– Мой фюрер! Первый рейхсавтобан построен. Дорога Марса на восток открыта! В один ряд по ней могут идти сразу десять танков.

Когда танки прошли по Украине, именно Коха Гитлер назначил рейхскомиссаром, сохранив за ним пост гауляйтера в Кёнигсберге.

На него покушался не только Кузнецов. В ноябре 1944-го кортеж Коха среди бела дня расстреляли в Кёнигсберге.

Он и тогда уцелел. Обойдя усеянный пробоинами "мерседес", заметил:

– Не знаю, кто они, англичане или русские, но хорошо стрелять не умеют.

Плохо стреляли англичане.

Коха арестовали американцы и передали полякам.

Варшавский суд приговорил его к смертной казни. Высшую меру заменили пожизненным заключением.

Почему не расстреляли?

Говорили, что Кох знал тайну Янтарной комнаты.

Из Царского Села одно из чудес света вывезли именно в Кёнигсберг.

Последний раз на публике гауляйтера видели в марте 1945-го: он лично распоряжался эвакуацией янтарной сокровищницы...

...Через месяц приезжаю в посольство. Бессмысленная оперативка. По коридору идет Птичкин и бросает мимоходом:

– То, о чем вы просили, невозможно.

Я удручен. И молча возмущаюсь: "Почему, собственно? Чего боятся? Что крамольного он может вспомнить?"

...Забывший Богом старик еще долго будет прилежно трудиться в тюрьме и умрет 92 лет от роду, унеся в могилу множество тайн.

Встреча с польскими коллегами, которые работали собкорами в Москве.

Торжественная часть – минимальна. Сразу – за столы.

Тосты: “Сто лят!”

Воспоминания: что было?

Прогнозы: что будет?

Прогнозы вялые.

Разогревшись, панове хватают нас за грудки: а Катынь? а пакт Молотова – Риббентропа? а Варшавское восстание?

Рядом со мной – мужик из агентства ПАП. Казалось бы, трижды проверенный, Герека сопровождает в поездках. Узнал, что я вырос в

Западной Украине, – чуть рубашку не разорвал. На мне.

Глаза бешеные, зубами скрипит:

– Отдай мой Львов!

Утром обходил меня стороной...

В воскресенье в корпункте раздался звонок.

– Добрый вечер! Говорит Мечислав Марциняк.

Голос был узнаваем: именно этими словами молодой ведущий Варшавского телевидения начинает программу новостей.

– Пан Друзенко, я слышал, вы из Ровно?

– А откуда вы...

– Пан Прокофьев рассказал. Не мог бы пан ко мне приехать?

– Когда?

– Сейчас.

– Почему такая срочность?

– У меня гостит отец. Он завтра уезжает, но хотел бы с паном поговорить. Пожалуйста.

Что-то подсказало: надо ехать.

Отец телеведущего оказался грузным, страдающим одышкой, неразговорчивым человеком. Оживился, когда сын сказал о Ровно.

Он жил там – до войны. Засыпал меня вопросами.

– Ты хотел... – напомнил сын.

Как-то буднично старик сообщил, что его квартира в Городке была... явкой Кузнецова.

Я затрепетал. Но виду не подал. Только записал в блокнот: "Марчиняк, улица Горького, 34".

На прощанье спросил:

– Если я к вам приеду, вы расскажете... подробнее?

Возвращаясь в корпункт, гадал: "Правду ли сказал старик? Или придумал? Сколько самозванцев объявлялось!"

Утром я позвонил во Львов – Вуковичу. Коллега-собкор оживился:

– Привет, сосед! Как пану живется?

– Нормально. Ты Струтинского знаешь?

– А как же!

Струтинский был шофером Кузнецова, чудом уцелел и работал во Львове.

– Запиши, пожалуйста. – Я продиктовал запись в блокноте. – Узнай, что он думает по этому поводу.

Через два дня из трубки донеслось:

– Значит, так. Во-первых, не Марчиняк, а Марциняк. Во-вторых, улица не Горького, а Легионов. В-третьих, наш человек.

“Неправильно записал фамилию, – регистрировал я свои промахи. -

А улица? Ну, конечно! Он запомнил, как она называлась раньше”.

Но главное сообщалось “в-третьих”.

Я полюбил одиночные, как плавание в океане, командировки. Шумные выезды – чохом, с шумом, напоказ – приелись.

А тут – так тихо и славно начинается.

На рассвете прогуливается Барон, съедается глазунья собственного приготовления, бутерброды, укутанные в фольгу любимым секретарем, перемещаются из холодильника в сумку, ласково, чтобы не разбудить, прикрывается дверь, лифт опускает в гараж, машина заводится легко, короткий, лающий гудок приветствует Тадеуша, правая ступня жмет на газ – и по крутому узкому подъему “Волга” вылетает из подземелья навстречу вздыхающей во сне Варшаве.

А дальше – какой выбор!

И что они прибудняются!

Ян чуть что – дергает плечами:

– Мы – маленькая страна.

– Вас уже тридцать пять миллионов! – бросаюсь я в дискуссию. – Море есть? Балтика! Горы? Пожалуйста: Татры, Карпаты, Бескиды. А

Великопольская низменность? Она же не зря “великая”. А Силезия? А

Беловежская пуца?

– Половина пуци, – не сдается Ян.

– Этого мало?

Ермолович – в порядке мелкой мести – посоветовал:

– Пора вам, милостивый государь, постигать польскую глубинку.

Поезжайте-ка в какую-нибудь гмину.

Вернувшись, я долго удивлялся, как не отдал богу душу.

В резиденции начальник гмины появлялся в полвосьмого, тормошил, тащил на первый этаж, где все уже сияло на столе, доставал из портфеля два флажка – красный с серпом и молотом и бело-красный с орлом, – и понеслось!

Я почетно стоял у памятников, возлагал цветы, выступал в школах, писал отзывы в книгах для особо важных гостей, меня приняли в почетные граждане трех деревень, и всюду – по пять, а то и шесть раз на дню – начальник гмины открывал портфель, извлекал помявшие-

ся символы и суетливо пристраивал их между бутылками...

Командировки в одиночку, лишённые прессинга “встречающих”, дарили истинные впечатления.

Едешь, смотришь, слушаешь, и никто не стоит над душой, и день твой не расписан, не надо торопиться, напрягаться, играть в дипломата.

Тормозишь, останавливаешься на обочине, гуляешь под солнышком в березняке, заходишь в придорожную чайную, где местное панство под пиво рассуждает о вечном...

И о войне.

Сколько лет прошло, а они...

Кто чуть постарше, непременно был в подполье.

В Варшаве кого ни встретишь – участвовал в восстании. У каждого второго псевдоним – Витек, Рудый, Лесник, Ромашка. Удивляясь, прикидываю: сколько ж ему тогда было!

...Увидев указатель, поворачиваю на Освенцим.

В конторе музея никого.

Сторож указал на ближний двухэтажный дом из черного, как будто обгоревшего, кирпича, в котором живет Тадеуш Шиманский, бывший заключенный, а ныне – директор.

Тот не удивился, прервал извинения и со словами: “Завтра поговорим, я все покажу”, – устроил на ночлег в соседнем подъезде, пояснив, что тогда там жили эсэсовцы с семьями.

Я долго не мог заснуть. Вставал, курил, подходил к окну.

Упиравшийся в темноту свет от прожектора был синюшно-потусторонним.

На пустыре возвышалось сооружение, похожее на колодец, из которого

Г-образно торчал столб с поперечиной: на ней повесили коменданта лагеря Гесса.

Утром Шиманский ведет меня к воротам.

От двух черно-белых, как на границе, стоек колюче тянутся проволочные нити, виднеется дощатый дом охраны с вышкой и прожектором, ажурные ворота распахнуты, над ними, в неуместно элегантно изгибе, застыли выдавленные из металлического листа буквы: "ARBEIT MANT FREI".

– Ничего не замечаете? – вполголоса спрашивает Шиманский. -

Присмотритесь.

– Не понимаю.

– Внимательнее... Каждую букву.

Как ни стараюсь, ничего не замечаю.

Удовлетворившись моей "сообразительностью", он объясняет:

– Лагерь строили первые заключенные. Никто из них не выжил.

Казалось, выразить протест против того, что здесь творилось, было невозможно. Но тому, кто делал ворота, кто приваривал буквы, это удалось. Обратите внимание на первое слово. Буква "B". Видите? Она перевернута!



Верхний кружочек, он должен быть меньше нижнего. А здесь – наоборот. Как будто гримаса. Он посылал знак, понимаете?

Эти случайные встречи, реплики, признания, эти не востребованные газетной рутинной впечатления проваливаются в память, как в черную дыру, укрепляя в мысли, что от схем, в которые втискивает меня вторая древнейшая, до истины дальше, чем от Земли до Марса.

Со старшим Марциняком мы проговорили три вечера.

Меня занимал вопрос: как он мог – тогда, в Городке – согласиться, чтобы его квартира стала явкой?

С ним жена... двое сыновей... младшему нет еще года... риск – безумный...

Добровольным ли было согласие?

Спрашивать не стал – даже после того, как вторая “Столичная” иссякла.

Именно от Марциняка Кузнецов и Валентина Довгер поехали убивать Коха.

У них не получилось...

Об этом я допытываюсь не щадя живота: как собирался Кузнецов? что делал? как уходил?

Старик с трудом подбирает слова.

– Он сидел в гостиной. Один.

– И ничего не делал?

– Пистолет разбирал. И собирал. А когда Валентина на коляске подъехала, пошел к двери и оглянулся.

– Что-нибудь сказал?

– Обычно он по-польски со мной, а тут – по-русски. Ну что, говорит, помирать будем с музыкой?

– А вернулся он к вам?

– Да. Ходил из угла в угол и повторял: не получилось, не получилось.

И просил: налей бимпера.

Когда в Городке начались аресты, Марциняка успели предупредить.

А жену с сыновьями немцы увезли в тюрьму. Больше он их не видел...

После войны уехал на родину и поселился в малом городке Валч.

Снова женился, всю жизнь проработал пекарем, был тихим, скромным обывателем.

Меня поражает его фраза:

– Я должен был ждать. Но никто не пришел.

“Ну конечно! Его держали в резерве. На всякий случай. Вдруг понадобятся явки. И только теперь он решился рассказать”.

Упоминание о бимпере – так в Ровно называли самогон – цензор из очерка удалил.

Как можно, чтоб герой – и выпивал! Да еще какую-то гадость из свеклы!

О том, что Марциняк ждал, я не написал.

Лето-79 стартовало до одури паляще.

Еще и не рассветало, а солнце уже на вахте.

Жарко, влажно, душно.

В бассейнах яблоку негде упасть: Висла в черте города мелководна, грязна, некупабельна.

Да что там бассейны, если и улицы – Маршалковскую, Новый Свят,

Краковское предместье, Иерусалимские Аллеи – варшавянки, разоблачившись, превратили в подобие пляжа.

Головой вертишь: вот-вот отвалится.

Они жару не замечают – живут приездом своего Папы.

Разговоры – только об этом. Главное – сколько прибудет паломников?

Позже в сообщениях промелькнут три цифры.

Польское агентство будет божиться, что – 400 тысяч.

Западные аналитики насчитают 800 тысяч.

Пресс-служба епископата поднимет планку до миллиона.

Каждый считал по-своему.

В Варшаве оглушающая жара – за тридцать.

Как такую массу людей напоить, накормить? А, прошу прощения, с туалетами как?

В пресс-центре – ажиотаж. Десант коллег – из Ватикана. Жалко смотреть на операторов в черных сутанах...

На пресс-конференции переводчик никак не может попасть в темп выступающего.

Слушаю начальника ватиканского Агитпропа, ничего не понимаю и гляжу в окно. На площади идут последние приготовления.

Несколько монтажников, как божьи коровки, ползают по золоченому кресту...

Утром в пресс-центр иду пешком.

К площади устремился поток – с хоругвями, знаменами. Похоже на наши демонстрации, только пива не продают и оркестры не шумят басами.

В Саксонском саду, среди скульптур и фонтанов, – полевые кухни, киоски, передвижные туалеты...

Потолкавшись в пресс-центре, попив бесплатной коки, уклончиво ответив на каверзный вопрос Бернара, большой ли отчет ждут от меня в газете, я шагнул в пекло площади.

Раскаленное ожидание. Ждут не первый час.

Большинство стоит не шелохнувшись.

Дети есть дети: бегают, едят мороженое.

Некоторые уже не могут стоять. Сидят, лежат – на газонах, тротуарах, ступеньках.

Молодая женщина с уснувшим карапузом на груди шепчет: "Иезус-Мария!"

Потерявшую сознание старуху относят к "скорой помощи".

Вдруг:

– Пан из Советского Союза?

Щуплый мужичок, давно за шестьдесят, в очках, берете, на лацкане – значок с изображением Богородицы, на лице – усталость со смиренным поклоном.

– Из Советского Союза.

– Журналист?

– Вы хорошо читаете. – На груди у меня болтается карточка с физиономией и подноготной.

– И что пан тут делает? – Стекла очков блеснули, то ли солнце в них, с внешней стороны, отразилось, то ли глаза заблестели – с внутренней.

– Работаю.

– Ну и как?

– Вы о чем?

– Как это пану нравится?

– Интересно.

Щуплый замолкает, решая, стоит ли продолжать.

– Согласитесь, – ему тоже интересно, – один такой день будет стоить коммунистам годы неустанной работы. И бесполезной.

– В каком смысле?

– Сколько ни уговаривают поляков верить в социализм – не получается.

В Бога веруют.

Уходить не хочется. Пробую контратаковать:

– Вы знаете, кто я. А вы кто, извините?

– По профессии?

– Допустим.

– Учитель.

Меня охватывает азарт.

– Хотите, угадаю предмет?

– Попробуйте.

– История.

– А как вы...

Но меня уже не остановить.

Остапа понесло.

– Вы же историк, – стараюсь говорить тихо, но не получается, – и прекрасно знаете, сколько лет коммунисты у власти – здесь, в Польше.

Ну, сколько?

Толпа сдавливает, подступает ближе.

– Сорок лет, согласны?

– И что из этого?

Что на меня нашло-наехало...

Развожу руки и запрокидываю голову:

– А Его когда распяли?

– Вы с ума сошли!

– Скоро две тысячи лет будет. Две тысячи, да?! Не убий... не укради...

Что там еще? И что? Убивают, крадут – не так ли?

– Боже святой! – Дама в шляпке закатывает глаза.

Двое хватают меня за руки.

– Оставьте его! – Голос учителя дрожит. – Представляю, что вы напишете.

Площадь приходит в движение: приехал Он.

Обо мне тут же забывают.

Все опускаются на колени.

Я продолжаю стоять.

На меня смотрят – снизу, с колен – как на прокаженного.

Никогда прежде я не испытывал такого одиночества.

Слава богу, вспомнил, что на груди болтается фотокамера, и защелкал, изображая репортера.

Учитель ошибся: о визите Папы я ничего не написал.

Не требовалось...

Короткие заметки о приезде Святейшего передавал в Москву – для всех газет сразу – тассовец Федор Калюжный, долговязый, рыжий, обманчиво простоватый парень.

Он же – единственный из нас – сопровождал понтифика в поездке по стране.

Вертелся волчком, принюхивался, лез в души, добывая информацию “для служебного пользования”.

А передавал – крохи. Коллеги, особенно из Ватикана, описывая каждый шаг и вздох Святейшего, диктовали часами. Федору хватало нескольких минут.

Но Папа вынудил-таки пана Калюжного встрепенуться. Будто всю дорогу думал, как же этого рыжего заставить поработать.

Случилось это в Освенциме. Неподалеку от крематория там стоит монумент. Вдоль него уложены десятки плит с одним тем же текстом на разных языках.

Понтифик должен был возложить венок и молча пройти мимо памятных знаков.

Папа останавливался у плиты, склонял покрытую белой шапочкой голову и, помолчав, направлялся к следующей.

Журналисты, и Федор в их числе, двигались поодаль.

И вдруг Святейший отступил от протокола.

Замер возле надписи на иврите и со словами: "Здесь промолчать не смогу", – произнес речь о загубленных в Освенциме евреях.

Федя слушал вполуха, а коллеги, толкаясь, тянули к понтифику диктофоны.

То же повторилось у польской плиты.

Когда Папа остановился у третьей плиты и заговорил о жертвах россиян

(так и сказал – "россиян"), Калюжный бросился вперед, моля бога, чтоб у диктофона не сели батарейки.

Два события неожиданно совместились во времени и пространстве.

Не стало Барона.

В Варшаву прилетел Брежнев.



Я едва не тронулся умом.

Увидел на приеме, как, прислонясь к похожему на жердь Гереку, волоча ноги, двигался высокий гость, и тут же мысль о Бароне: тот так же нехотя, покачиваясь, будто пьяный, выходил на прогулку, с трудом задирает лапу, внезапно замирал, опустив утративший чуткость нос.

Слушая, не особо вслушиваясь, всезнающего Саню – тот, подмигивая, сообщал, что с Леонидом Ильичом прилетел десяток врачей, – вспоминал, как вместе с Яном нес Барона к машине.

Мы поехали на Гжибовскую – к ветеринару, бывшему с Яном в неблизком родстве, и тот, приложив стетоскоп к груди ко всему равнодушного пса, изучив его слюну, закачал головой и заговорил о неведомой собачьей хвори, завезенной на берега Вислы из африканской тму-таракани.

На покрывале Барона внесли в лифт, подняли до третьего этажа и уложили на лоджии.

Он тяжело дышал и много пил.

Лариса, плача, меняла миску с водой, уговаривала поесть, но пес закрывал глаза.

В корпункте повисла тишина ожидания. Даже Егор замолчал...

И в те же дни – визит Генсека. Все на ушах стоят, телефон трезвонит, стенографистки ждут.

С Брежневым, как обычно, прибыли допущенные к телу спецкоры.

Ко мне прилетел Новиков. Спросил, излучая оптимизм:

– Как жизнь?

Я процитировал варшавского фельетониста: самый нудный человек – тот, кто подробно отвечает на этот вопрос.

– А ты покороче.

Пробурчав “нормально” и вскользь упомянув о заболевшем псе, я протянул начальнику наш первый репортаж.

Новиков прочитал и предложил:

– Погуляй, а часа через полтора приезжай.

Когда я вернулся в гостиницу, он вернул переписанный, от первой до последней строки, текст:

– Можешь передавать.

Так повторялось все четыре дня визита.

Очень опасался Новиков, как бы я не напутал с формулировками.

Барону становилось все хуже и...

Я не мог выговорить: сдох.

Даже заглянул в словарь, но Даль был неколебим, хотя и продолжил ряд:дохнуть – значит издыхать, умирать, околевать, испускать дух.

Допустимость слова “умирать” успокоила.

До болезни по выходным я возил Барона на Большую прогулку.

Пес с первых шагов ощущал приближение праздника, мгновенно понимал, что предстоит не скучный променад по дурно пахнущим тротуарам, скулил и бил хвостом

о стену лифта. С лету запрыгивал на заднее сиденье и лаял, торопя хозяина.

Мы ехали по Брестскому шоссе – поближе к Москве.

Съезжали на обочину.

Не снимая ошейника, я выводил Барона на тропинку, и тот в нетерпении обшаривал носом-миноискателем дозволяемое поводком пространство.

Там же мы решили его похоронить.

Никого в помощь не звали. Завернули в простыню. Лариса зашила ее по центру: нитяные перекрестья напоминали шрам. Получилось вроде савана.

Выехали на рассвете. Шоссе было безлюдным. Редкие машины, вырвавшись из тисков города, охотно отдавались скорости.

Сумрачный лес молчал.

Я шел за женой, привычно оставляя за ней право выбора.

Наконец обнаружилась полянка.

Я вернулся к машине и достал из багажника лопату.

Копали, сменяя друг друга.

Окаменевшую плоть несли с передышками.

Я ждал, когда Лариса бросит первую горсть, не решаясь поторопить, хотя украдкой поглядывал на часы: в десять надо было заехать за

Новиковым в гостиницу.

Жена что-то шептала, глотая слезы.

...Я уже разравнивал площадку, прибывая лопатой землю, как вдруг сзади послышались шаги.

– Что пан копает?

Двое в пузырящихся плащ-палатках и фуражках с зелеными, как у пограничников, околышами хмуро смотрели в нашу сторону.

Скорее всего – лесники. А может...

Я рассказал все как есть.

Отошли в сторону.

– Хорошо, – сказал тот, что повыше ростом. – Пусть лежит. Только все заровняйте. И чтоб никаких знаков, понятно?

Дома я успокаивал жену:

– Ларёк, приедем в Москву, обязательно заведем щенка – похожего на

Барона.

Она качала головой:

– Такого, как Барон, не будет.

Есть идея – повторить маршрут Войска Польского в минувшую войну.

Он проходит через десять воеводств – от Хелма до Щецина.

Одному не потянуть.

Предложил коллегам из "Жиче". Богдан загорелся. Разложил на столе карту. Полководец перед наступлением. Планируем маршрут и график.

Наконец под солнечными лучами и легким ветерком у корпункта останавливается “Полонез” – самый комфортный польский автомобиль.

А там – ребята из “Жиче”: Марек – шеф отдела информации, Лешек и

Яцек – репортеры.

Катим на восток, к границе, в Хелм.

Всю дорогу молчим.

– Хорошо бы ноги размять, – предлагает Марек на въезде в город.

Идем вдоль улочки.

Коллеги стайкой направляются в монопольку. Так называют магазины, торгующие водкой.

Я – за ними.

Выстраиваемся в очередь.

– “Пшеничную” проше, – говорит Марек.

– Тоже “Пшеничную”, – просит Лешек.

– И мне. – Это Яцек.

Смотрят на меня.

Говорю:

– “Выборову”, пожалуйста.

Выходим.

Марек не выдерживает, спрашивает:

– Почему “Выборову”?

– Наша редакция, – объясняю, – возле Елисейского гастронома. Там продают “Выборову”. Не хочу менять привычек.

Радом – город зеленый, двухэтажный, лишенный периферийных комплексов, город яблок, клубники, город, где делают телефонные аппараты и швейные машины.

У нас, вернее, у ребят украдкой спрашивают: вы у пана майора уже были?

Ставлю вопрос ребром:

– Что за майор?

Марек темнит:

– Не для печати.

– Есть тут, – объясняет Яцек, – легендарная личность.

– Почему же мы к нему не едем?

– Он не совсем по нашей теме.

– Действительно майор?

– То-то и оно, – излучая унылость, усмехается Яцек.  
– Еще и адъютантом служил.

– У кого?

– У Пилсудского.

Немая сцена.

Чешу затылок. Прикидываю. Решаюсь:

– Поехали!

Двор, склад, мастерские, дом с мезонином. Как в кино.

Лестница скрипит.

Квартира большая. Люстры, плюшевые кресла, овальный стол, салфеточки-макраме.

На стенах – картины. В золоченых рамах.

В прихожей – портрет. Маслом. Юный улан – прямой взгляд, тонкие усики, лихо заломленная конфедератка.

Много книг. Диван, подсвечники, вазочки, настенные часы.

Все слегка припылено.

Ощущение, будто попал в антикварный магазин накануне банкротства.

Хозяин нас ждал. Ему 85 лет. Это его портрет в прихожей. Не похож.

Голос резкий, командирский.

Пригласил за стол. Поставил крохотные рюмки и наливку собственного приготовления.

Выпил рюмку – “на здраве” – и, не дожидаясь вопроса, стал рассказывать.

Такое впечатление, как будто заслуженный ветеран встречается с молодежью.

Вспоминал, как воевал с Тухачевским.

Покосился в мою сторону, почему-то извинился и сказал:

– Это была кровавая война. Я это на себе испытал.

В сентябре 1939 года он собрал ополчение и ушел в лес.

И – опять обращаясь ко мне:

– Пан редактор молодой еще. Пан не знает, что для поляков война началась не только первого сентября, но и семнадцатого.

Это я-то не знаю!

Пацаном бегал в Ровно по улице 17 Сентября.

Для них – трагедия, четвертый раздел.

Для нас – праздник, присоединение Западной Украины к матери-родине.

Геополитика чертова...

О том, как служил адъютантом, старик не говорил. Видно, я его все-таки стеснял.

Вдруг спросил меня:

– Пан редактор, у вас тех, кто с нами воевал в двадцатом году, уважают? Признают?

– Конечно.

– А у нас – нет. Как будто не было той войны.

Прощаемся. И вдруг он говорит по-русски. Читает Пушкина. Кажется, из

“Полтавы”. “Спит Кочубей...” Почему?

Крепко сжимает мои плечи.

Бодрый старик...

Возвращаемся в гостиницу.

– У нас это не пройдет, – бурчит Марек. – А у тебя – тем более.

Яцеку и Лешеку рейд в тягость.



Их угнетает заданность позитива. Едем по местам боевой славы. Мотив: ах, как все изменилось! К лучшему, естественно...

Судя по нашим ночным посиделкам, они так не считают.

Закипают. Как чайники. Крышки подпрыгивают.

Марек постарше, пытается сдержать молодых. Куда там!

Убеждены: никакой "второй Польши" Герек не построит, залезла страна по уши в долги, социализм повернулся к полякам задом.

А может, они сами к нему повернулись?

Я пытаюсь возразить, Яцек – с обидой:

– Анатоль! Ну что ты можешь знать о жизни простых поляков! Мы останавливаемся в лучших гостиницах, едим в ресторанах, ходим по начальству.

– В розовых очках.

Это – Лешек...

День шахтера в Катовицах. Называется "Барбурка". В честь святой

Барбары – покровительницы горняков.

В громадном спортзале выстроились шеренгами сотни людей.

Между ними ходят Герек, премьер Ярошевич, куратор безопасности Каня, другие. Вручают партийные билеты. Всем! Скопом!

Пробую побеседовать со свежим партийцем.

"Не розумем", – говорит.

Не в том смысле, что не понимает, почему вступил. По-русски не понимает. Дипломат.

Восьмидесятый високосный примчался с напористостью скорого поезда.

В дверь позвонили.

На пороге – чумазый, белозубый, рот до ушей, черная шапочка натянута на лоб, уже пригубил, глаза поблескивают – трубочист: сверкает серебристыми пуговицами.

Пялясь, как солдат на генерала, рапортует:

– Веселых праздников! Здоровья пану, малжонке, детям!

Накануне Нового года в Варшаве обнаруживается сонм трубочистов.

Будто весь год обитают на крышах, а перед праздником спускаются. Без стеснения стучатся в двери и поздравляют: кто на словах, кто протягивает написанные от руки открытки, поют колядки.

– Половина из них аферисты, – предупреждает Ян.

Трубочиста полагается отблагодарить.

– Кому это? – вскидывается жена, увидев у меня в руках “Столичную”.

– Трубочисту. Счастье принес. Тонны две.

Чумазый оторопел, стал отказываться. Пришлось впихнуть бутылку в брезентовую лоснящуюся сумку.

Новый год встречаем у Яна.

Не люблю этот замешенный на притворстве праздник. Почему с новым счастьем? А куда старое девать? И

зачем поздравлять людей с тем, что они на год постарели?

Настроение поднимает Гражина – мечет на стол произведения польской кухни.

Сельдь в сметане, слегка укалывая, тает во рту.

Мясо по-татарски надо размешать и обильно посыпать солью и перцем.

На горячее, конечно, бигос – терпеливо потушенная квашеная капуста, сдобренная грибами и копченостями.

Зарубежные коллеги восхищаются изворотливостью варшавян:

– На прилавках пусто. В коммерческих магазинах запредельные цены. А придешь в гости – стол ломится.

Ян и Гражина – истинные варшавяне.

Двенадцати часов дети не дождалась: уставших, объевшихся, их уложили в спальне, рядом с елкой, купленной и украшенной еще на Рождество.

Новый год встретили дважды.

Сначала – по-московски.

Заглушая мелькавшую на телеэкране Родович, я хрипло, с растяжкой, по-брежневски экая, прокричал “поздравление советскому народу”.

Гражина хохотала, и даже Ян не удержал улыбки.

Ларёк, привычная к моим соло, курила.

О наступлении польского Нового года объявил Герек. Уныло бубнил о строительстве второй Польши и трудностях, которые народ должен преодолеть.

– Ничего народ им не должен! – кричит Ян.

В отличие от меня он не пьянеет и мыслит четко. Слова не произносит, а режет: будто луковицу – на мелкие кусочки.

Дамы уединяются на кухне. Мы – продолжаем.

– Везде ложь! – Ян вдавливая окурок в днище пепельницы. – С рабочим классом заигрывают: авангард! А кому хуже всех живется? Работягам.

Иногда они взбрыкивают, а их...

Я молча соглашаюсь.

Ян продолжает:

– Любопытный вывод сделал Щепаньский. Профессор, социолог. Слышал о нем, да? Так вот, кризисы у нас повторяются регулярно: тысяча девятьсот сорок восьмой, пятьдесят шестой, шестьдесят восьмой, семидесятый, семьдесят шестой. Помимо прочих, у них есть и политико-демографический подтекст.

– На рождаемость влияют?

– Да нет! При такой цикличности не удастся привить полякам чувство... как это сказать? Чувство верности строю. У молодежи нет, как у старших, закодированного страха перед террором.

– И потому она храбрее?

– Именно.

– Что-то не очень заметно.

– Не спеши, пан редактор. – Ян тянется к кофейнику.

Но ночной монолог поляка еще не закончен.

– Объясни, почему у нас каждый лидер начинается как демократ, а заканчивает как диктатор? Герека, когда он сменил Гомулку, на руках носили. Европейец! Во Франции вырос! А что теперь? Экономика в руинах, а они талдычат про успехи. Я на собраниях высидеть не могу.

Когда-нибудь, ей-богу, сорвусь.

– Что ты имеешь в виду?

– А самоисключусь.

– Тебя же в отставку отправят.

– Ну и что? Думаешь, в академиях много платят?

– И что тогда?

Ян мотает головой:

– Был танкист, стал таксист.

В эту новогоднюю ночь Ян пощадил меня: ничего не сказал о Катыни.

Обычно ею заканчивает...

Порою трудно понять, что больше их возмущает – сам факт расстрела десяти тысяч офицеров или наше упорное непризнание вины?

– Пока ВАШИ, – Ян нажимает на второе слово, – не покаются, ничего хорошего не будет.

Его дядя, подхорунжий кавалерии, был в лагере под Козельском.

– В конце марта сорокового года от него пришло письмо, – рассказал однажды Ян. – Сообщал, что жив, здоров. Писал, что по вечерам им показывают кино. Ему понравились “Веселые ребята”. Еще писал, что четырнадцатого марта, в день святого Юзефа, они выпустили

устный журнал и посвятили его памяти Пилсудского. Удивительно, как пропустили такое письмо. Хотя дядя фамилию не называл. Написал – “в честь маршала”. А кто читал, не сообразил. Это было последнее письмо. Сколько запросов ни посылали, ответ один: адресат выбыл.

Куда? Когда? Молчат!

Не только от Яна слышу я о Катыни. Все больше бесед упирается в это слово, как в скалу.

# ПОКА НЕ ПОКАЕТЕСЬ...

Месяц назад я не выдержал, выступил на парткоме.

Говорил, глядя в сторону посла:

– Я не знаю, что им отвечать.

Посол отводил глаза.

Секретарь парткома успокаивал:

– Не кипятись.

– Они же нас из-за этого... – Я почти кричу.

– Значит, так. – Секретарь насупился. – Я советовался в ЦК. Там сказали: придерживаться официальной версии. Ясно? Их расстреляли немцы. Все!

Первые майские деньки не радуют.

Что я тут делаю? Зачем притворяюсь? Почему всего боюсь?

В День Конституции – по их мнению, самой первой и демократической в

Европе – Егорка уговорил поехать на Старувку. Там торгуют – по мнению сына – самым вкусным в мире мороженым.

Егор торопливо семенит в сторону Рыночной площади, где варшавяне и гости столицы вкушают сладкий лед, изготовленный по новейшей итальянской технологии.

Еще издали слышу свист и звуки песни.

В первомайские дни в Варшаве проводят фестиваль фольклорных ансамблей. Певцы и танцоры съезжаются со всего света. Главную сцену сооружают на Старувке.

Когда толпа вытолкнула нас на площадь, я поежился: картина – та еще!

Зрители – не меньше тысячи – исподлобья смотрят на сцену.

А оттуда несется свистящее веселье. Сверкая саблями и лампасами, на помосте отплясывает Кубанский казачий ансамбль.

“Ну, недотепы! Кого прислали? И куда? У них же такая аллергия на казацкие лампасы – век не вытравить!”

Зажегся найти руководителя ансамбля, но Егор в нетерпении тянет в кафе.

Направляемся к зонтам с краснеющими позывными “Кока-колы”, а со сцены догоняет:

Ка-ли-на,

Раз, два, три, четыре,

Чернявая дивчина

В саду ягоды рвала!

Достают сваливающиеся без предупреждения гости.

Обычно я уматываю в какое-нибудь воеводство, предоставляя гостеприимные хлопоты Ларисе.

Случаются исключения.

Безмерно обрадовался, узнав голос Михаила Владимовича.

– Это пан Друзенко или все-таки товарищ? – весело кричал он.

– Вы откуда звоните?

– Из Варшавы, дорогой, из Варшавы.



Как приехал? Конечно, по приглашению. Конечно, родственника. Очень дальнего. Живет в Радоме...

Вот турист неугомонный! Без ступней – и ничего: садится в “Москвич” с рулевым управлением и – через Украину, Белоруссию, через границу, которая на замке, и таможеню со своими делами, а дальше – по польским автострадам.

– Ты в Радоме был? – спрашивает лучший в мире учитель словесности.

Нам уютно на кухне, хотя жена упорно гонит в гостиную.

– Бывал. На телефонном заводе.

– Заводе телефонных аппаратов, – по-учительски поправляет Михаил

Владимирович. – Там... беспокойно.

– Да нет, вроде тихо.

– А ты слышал о комитетах защиты рабочих?

Конечно слышал! Диссиденты придумали. Помогают семьям тех, кто попал в тюрьму после забастовок. А толку-то!

Выходим на лоджию.

Внизу напряженно гудит рондо.

– Как ты вообще – живешь? Здесь? – почему-то шепотом спрашивает дорогой гость.

Я тяну с ответом.

– Не можешь сказать?

– Во-первых, не живу, а нахожусь. Во-вторых, мало что знаю. Еще меньше – понимаю. Возьмите этот пере-

кресток. Знаете, как называются улицы? Одна – Свентокшиская. В честь Святого Креста. Другая – имени

Мархлевского. Был такой большевик и поляк.

– Знаю, – кивает Михаил Владимирович и вздыхает.

...Со временем все станет на свои места. Улицу Мархлевского отменят.

Переименуют в аллею Иоанна Павла II.

На рассвете нас поднял будильник.

Занималось воскресенье. Варшава посапывала во сне. Две машины, приклеившись, миновали центр и устремились к Брестскому шоссе.

Я притормозил там, где год назад мы с Ларьком некстати столкнулись с лесниками.

– Домой-то когда?

– Не от меня зависит.

– А хочется?

– Даже не знаю.

Я долго стоял на обочине, глядя вслед “Москвичу” со знаком ручного управления на стекле.

Хотел было поискать могилу Барона, но передумал.

Десантник рассказал забавный анекдот.

Здесь умеют их рассказывать.

Стало руководство народной Польши замечать, что руководители среднего звена рано отдают концы: отказывает сердечная мышца.

Поручили ученым выяснить – проверить на белых мышах.

Через месяц звонят, говорят: приезжайте, выяснили.

Приезжают: Герек, Ярошевич...

Смотрят – два ящика. И там, и там – мыши. Но в одном – бегают, а во втором – лапками кверху.

– Вы что, – спрашивает Герек, – этих кормили, а этих нет?

– Совершенно одинаковый рацион.

– Может, с воздухом что?

– Один и тот же воздух.

– Температура?

– Везде двадцать градусов.

– Почему же эти бегают, а эти...

– Тем, которые уже не бегают, каждый день по два раза кота показывали.

Легнице.

Столица польской меди. И – группы наших войск.

Странно: идешь по польскому городу, видишь польские костелы, дома, польские вывески, и вдруг – по-русски: “Военная книга”.

Как в Чите.

Ура! Или – черт побери? В Варшаву пожаловал Алексеев.

Я опасался, не сорвусь ли в роли адъютанта. Она мне – как серпом...

Обошлось: Главный особо не загружал.

Я сопровождал его по кабинетам и даже переводчиком бывал.

Всюду Алексеев непременно задавал один вопрос. Видно, в Москве посоветовали.

– Насколько опасны ваши диссиденты?

– Что вы, пан-товарищ! – весело отвечали ему. – Какая опасность!

Сколько их? Ну, сто, двести. О чем вы говорите? Мы их потому и не трогаем. Иногда задерживаем и... выпускаем. Чтоб на Западе не шумели.

Лето началось со скандальчика. А он – с чего? Правильно: в корпункте затрезвонил телефон.

Иногда мне кажется, что флюиды, излучаемые человеком на другом конце провода, определяют тональность звонка: то воркует, то заливается в нетерпении, то бьет в набат.

На этот раз из трубки рвалось раздражение.

– Дупак говорит, – услышал я и приглушенно хохотнул.

– Чему вы смеетесь?

– Извините, это не к вам.

Не объяснять же, что с такой фамилией в Польшу лучше не заворачивать. “Дупа” означает место пониже спины. Употребляется с великим удовольствием и звучит в самых замысловатых комбинациях.

Гражданин с рискованной фамилией брал быка за рога:

– Юрий Петрович спрашивает, где наши журналисты.

– Какой Юрий Петрович?

– Вы корреспондент или нет? Не знаете, что в Варшаву “Таганка” приехала?

– Конечно, конечно. – Я сообразил, что речь о Любимове.

– Я директор театра, а Юрий Петрович интересуется, почему наши журналисты не приходят на спектакли, не берут интервью.

– Извините, но почему вы об этом меня спрашиваете?

– Вы же парторг журналистов!

– Не понял. Вы хотите, чтобы я по партийной линии обязал коллег являться на спектакли?

Гастроли “Таганки” ажиотажа не вызвали.

После своих режиссеров-затейников авангард Любимова показался полякам наивным.

Без привычного аншлага Маэстро занервничал.

Высоцкий хворал в Париже. Любимов уговорил его приехать.

“Гамлета” сыграли при полном аншлаге.

Зрители были в восторге.

Оксанка кричала “браво”.

Высоцкий бессчетно выходил с поклонами.

Я впервые видел его так близко.

Подумал: “Какое измученное лицо!”

# БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Высоцкому оставалось чуть больше месяца.

Хотя – с какой стороны смотреть...

Тягостные сцены в мясном магазине, который называют

“дипломатическим”. Там отовариваются работающие в Варшаве иностранцы.

В обычных магазинах с мясом, колбасой – перебои. Выбросят – тут же очереди.

В “дипломатическом” – глаза разбегаются: шинка, вырезка, карбонад, ветчина, корейка, охотничьи колбаски.

Впускают строго по пропускам.

Бывает, кто-нибудь из “аборигенов” пытается проникнуть. Давка у двери, крики.

Выходишь с набитой сумкой – на тебя смотрят так, как будто ты не купил, а украл.

Вчера у входа меня остановила старушка.

– Пан сюда? – спрашивает.

Так и не стал я похожим на иностранца.

– Проше пана, у меня внук заболел. Не купите полкило телятины?

– Может, еще что-нибудь?

Испугалась:

– Нет-нет, только телятины. Полкило...

С 1 июля повысили цены на мясные продукты.

В воздухе пахнет грозой.

Газеты молчат. Ходят слухи, что пошла волна забастовок.

В конце июля я, как и все варшавские "совки", навострился в отпуск.

– Уезжаешь? В такое время! – удивляется прилипчивый Бернар. – Ведь забастовки!

Молчу с видом перегруженного информацией знатока.

– Ты, Толья, – француз не унимается, – как Герек!

– Это почему?

– Тот тоже в Москву уехал. На Олимпиаду. Болельщик...

Очищенная перед Играми от всего, что плохо лежит, и от всех, кто плохо выглядит, Москва напоминает коммунальную квартиру, ставшую после ремонта отдельной: простор, чистота, достаток.

Не хочется верить, что схлынут завещанные бароном Кубертенем страсти, улетит ласковый Мишка и все вернется на круги своя: очереди, темнота, грязь, злость...

Семейство разделилось по интересам.

Лариса (подвижница!) занялась ремонтом квартиры.

Мне в месткоме дали три путевки на Рижское взморье.

Дом отдыха в Юрмале ненавязчивым сервисом напоминает туристскую базу. Одна отрада для ребят – море.

Утром Оксана, глядя, как я бреюсь, неожиданно попросила:

– Пап, оставь усы. Интересно, какие они у тебя.

К концу отпуска над губой выросла хохлацкая, загибающаяся книзу, полоска.

Дочь в восторге:

– И ходи в них!

– Последнее слово за мамой.

Вечера я просиживал в холле, уткнувшись в телевизионные новости.

Утром – по дороге на пляж – покупал органы печати.

Ни экран, ни газетные полосы сведений о временно покинутой стране пребывания не сообщали.

Была братская Польша – и пропала.

Греясь на милосердном солнышке, я НЕ ЗНАЛ...

...что Анна Валентинович уже уподобилась Аннушке из “Мастера и

Маргариты”. Правда, та пролила масло на рельсы, а пани Анна добавила его в огонь, украв... воск.

Серьезные революции начинаются с пустяков.

Администрация Гданьской верфи давно конфликтовала с Анной

Валентинович, крановщицей, бывшей ударницей, а теперь – активисткой подпольного профсоюза.

Нынешним летом – очередной скандал.

Валентинович увольняют, обвинив в том, что она пыталась украсть воск, чтобы приготовить из него поми-



нальные свечи. Поминали демонстрантов, погибших на гданьских улицах десять лет назад.

Цех, где трудилась Валентинович, прекращает работу.

Требование одно: восстановите!

Дирекция – ни в какую.

Звонят из горкома партии: делайте что хотите, но чтоб забастовки не было.

За бывшей стахановкой посылают машину пана директора. Привозят на верфь. Подписывают приказ. Восстанавливают.

Но... поздно.

Забастовали другие цеха...

Окунаясь в море по колению, я НЕ ЗНАЛ...

...что Лех Валенса уже перелез через забор и попал в историю.

Слесаря с буденновскими усами работяги уважают – за настырность. Его увольняют, сажают, а он все про независимые профсоюзы...

Через забор перелез вовремя: на верфи уже выбрали забастовочный комитет.

А кого в главные? Леха, кого же еще!

Требований – уже больше. Не только насчет Анны, но и про зарплату, цены, выходную субботу.

Прогуливаясь с детьми по улицам Юрмалы, я НЕ ЗНАЛ...

...что в Гданьск уже подтянулись идеологи протеста – Куронь,

Мазовецкий, Михник, Мондзолевский, Геремек, Онышкевич...

В ранней молодости они были левыми радикалами. После "пражской весны" стали диссидентами.

Понимали: в революции без рабочего класса – ни-ни. Так появились комитеты защиты рабочих.

На митингах особо недоверчивые спрашивали Валенсу, указывая на Куроня:

– Почему он все время с тобой?

– Панове, – кричал Лех, – кто помогал моей Дануте и моим детям, когда я сидел в тюрьме? Он!

Экономические требования забастовщиков интеллектуалы изрядно разбавили политическими.

Я НЕ ЗНАЛ, что неизвестный забастовщик – вечером, в каптерке, лежа на матрасе – уже написал заветное слово.

Счастливо найденное, оно будет повторено на транспарантах, знаменах и плакатах, в надписях на стенах, резолюциях, приказах, протоколах, публикациях, проповедях, приговорах...

И станет символом: "СОЛИДАРНОСТЬ"!

Я НЕ ЗНАЛ, что уже не только верфь в Гданьске – вся страна рванула на груди рубаху и схватила власть за грудки.

Заброшенный отпуском и трусливым бессилием на Рижское взморье, я завтракал сосисками с макаронами, валялся на пляже, а после обеда дремал...

Не обратив внимания на проклюнувшуюся под моим носом растительность,

Лариса сообщила:

– Звонил Новиков. Просил, как только появишься, зайти. Билеты в хозотделе я получила. Поезд завтра. А мне еще надо с паркетчиком расплатиться. Между прочим, последними.

– Ничего! – подбадриваю я скорее себя, нежели же-ну. – Доберемся до

Варшавы и сразу – ва-банк!

Новиков суров:

– Едешь завтра? Это хорошо. Там все сложно. На месте сориентируешься. Только не суетись. И теснее контакт с посольством, ясно?

В коридоре сталкиваюсь с Олежкой.

– Старик, как дела?

– У поляков два варианта ответа.

– Ну?

– Могло быть хуже и могло быть лучше.

– Может, вечером подробнее обсудим?

– Извини, утром поезд...

В Варшаву вернулись в первых числах сентября.

Телевизор раз за разом прокручивает исторический эпизод.

Надутый, не похожий на себя, с иконкой Божьей Матери на лацкане,

Валенса подписывает соглашение неправдоподобно большой авторучкой.

Говорят: личный подарок Папы.

Правительство согласилось с требованиями забастовочного комитета...

Варшава неузнаваема.

Начало осени, а вокруг – белым-бело: листовочная метель. Стены домов, деревья, фонари – все обклеено!

Похоже на дадзыбао.

Тоже революция?

Культурная?

Или – не очень?

Засел за газеты. Пытаюсь разобраться.

От безнадежного дела оторвал звонок.

– Уже вернулись? Прекрасно! – щебечет секретарша из парткома. – Не забыли? Завтра четверг. Заседание.

У посольского секьюрити отваливается челюсть:

– Вы с усами?!

Атташе по культуре – туда же:

– Старик, ты же уехал без усов?!

Напоминаю:

– Я слышал, язык дипломату дан, чтоб скрывать...

Секретарь бубнил о задачах парткома в свете решений очередного исторического пленума.

О том, что происходит за забором, – ни слова.

Аристов, посол, опоздал, сел и уставился на меня.

Через час закруглились.

Я решил переждать, пока все разойдутся. Не вышло.

В коридоре стоит лично посол с группой преданных товарищей.

– Анатолий Иванович, – чрезвычайный излучает добродушие, – а ведь усы вам не идут.

Все радостно кивают.

На нервной почве я решаю взбрыкнуть:

– Борис Иванович, вы знаете историю, как два молодых еврея пришли к раввину?

Произносить слово “еврей” в здании посольства считается малоуместным. А уж после “раввина” своды должны бы рухнуть.

– Что-что?

– Они спросили у раввина, можно ли им завести усы.

Я играю в кошки-мышки: недоговариваю, тяну.

Аристов злится:

– И что в итоге?

– Раввин не разрешил.

– А дальше?

– Вышли они, один и говорит: слушай, у самого-то ребе усы есть!

– И они вернулись, – догадливо подсказывает посол.

– Ага, – киваю я и снова замолкаю.

– Ну, ладно, чем кончилось?

– Раввин сказал, что ни у кого не спрашивал.

Аристов машет рукой:

– Вечно у вас, у журналистов...

И с выражением детской обиды на лице, окруженный возмущенной свитой, удаляется в свои апартаменты.

Из посольства еду в Интерпресс.

Десантник в компании Бобиньского и Бернара.

Увидев меня, вскакивает:

– Панове! Россияне заимели своего Валенсу!

Рванулся к стойке и мигом обернулся с бутылкой, еще одной рюмкой и сиротливыми ломтиками печенья.

Так и не привыкший к их небрежению закуской, я накрываю рюмку ладонью:

– За рулем.

– Побойся бога, Анатоль! – Десантник тянет через стол бутылку. -

Тебя же больше месяца не было! Мы тут паримся, а ты – в самоволке.

Вспоминаю строку из фельетона молодого Катаева “Дневник горького пьяницы”. Там герой завязал, героически держится и вдруг – короткая, в четыре слова, запись: “Среда. Опять. Как свинья”.

Бернар спрашивает:

– Как самочувствие пана Брежнева?

Хватаюсь за спасительную роль Незнайки:

– Скажите лучше, что здесь происходит?

Бобиньский охотно начинает:

– Когда в вашем, пан Друзенко, лагере происходят ЧП, вы говорите: события. События в Венгрии, Чехословакии. Теперь – польские.

– У нас уже события? – ухмыляется Десантник.

– Чрезвычайные.

– Это почему же?

Бобиньский дожевывает печенье и продолжает тоном докладчика:

– Движущей силой восстания в Венгрии...

– Там не было восстания.

– В Венгрии, – английский поляк невозмутим, – против социализма выступили националисты. Они были в меньшинстве и проиграли. В

Чехословакии протестовала интеллигенция.

– Она была за социализм, но с человеческим лицом, – уточнил Бернар.

– Не важно, – морщится Бобиньский. – А кто в Польше?

Поднимает кверху палец:

– Ра-бо-чи-е!

– Весь народ! – кивает француз.

Десантник вяло возражает:

– Этого еще никто не посчитал.

– Минуточку, – беру наконец слово я. – Валенса что сказал? Мы не против социализма, а против искажений социализма.

– Ради бога, пан Друзенко...

– Он действительно так сказал!

– Ну и что? Тактика, – пожимает плечами Бернар.

– Не в этом дело! – перебивает француза Бобиньский. – Против рабочих танки не пошлешь.

Десантник дипломатично подводит черту:

– Анатоль, как у вас говорят? По-жи-вьем...

– ...увидим.

Расстались мирно.

Об этом эпизоде я потом прочту в мемуарах Герека.

В кабинет к нему заглянул помощник и доложил:

– На связи!

Герек поднял трубку и услышал шамканье:

– У тебя-а-а контра-а-а. Надо взять за морду. Мы поможем.

В мемуарах фраза Брежнева напечатана латиницей:

– U tebia contra. Nada wziat za mordu. My pomorzem.

Первый секретарь (польский) не знал, что ответить генеральному (нашему).

Легко сказать – “взять”! Кого? Легко сказать – “контра”. Это рабочие-то?

Постарел Герек...

Люди бросают работу, бастуют, а он беспомощно лопочет с трибуны:

– Праца нас взбогаца (работа обогащает).

Народ так и не понял. И пан-товарищ Эдвард, подав в отставку, укатил домой, в Катовице.



К бывшему вождю пришла делегация шахтеров.

Испуганный, трясущийся, он отдал мундир почетного горняка и прилагавшуюся к нему саблю.

...Герек проживет до 88 лет. Его оставят в покое, и он проведет остатки дней в кругу семьи...

Главным секретарем стал безликий, как и положено куратору безопасности, Каня.

Народ веселится:

– Лучше Каня, чем Ваня.

Много шума вокруг интервью Куроня "Штерну".

Все цитируют то место, где говорится о начале событий.

Куронь хвастлив: все организовали мы.

Они же, оказывается, сделали из Валенсы вождя-марионетку, который

"был поручиком в окопах, а никак не генералом в штабе".

Спросить у Куроня, с чего вдруг он так "раскрылся", я не могу.

Поговорить с другим Яцеком – Гмохом, тренером польской сборной по футболу, – пожалуйста. С его тезкой Куронем – боже упаси!

Это будет мое последнее интервью.

Возможно, не только в Варшаве...

Валенса на Куроня не обиделся.

Что ж до "поручика в окопах"...

Даже если его “вычислили”, то сделали это с потрясающей точностью.

Если бы в начале событий ЭВМ попросили бы выдать данные, каким должен быть лидер масс, она бы ответила: лет 35, из простой семьи, католик, семьянин, много детей, работяга, желателен массовой профессии, например электрик, желателен – из Гданьска. И обязательно с верфи имени Ленина.

Звонит Десантник. Кричит – как будто я глухой:

– Вы едете или нет?

Иногда Эмиль обращается ко мне как к парторгу журналистов – на вы.

Как раз тот случай. В Гданьске открывают памятник рабочим, расстрелянным в декабре 1970-го.

Мифы складываются на бегу. Оказывается, в той демонстрации участвовал и молодой Лех. Он поклялся, что погибшим поставят памятник. Его арестовывали, волокли от проходной, а он стучал ботинком об асфальт и кричал: “Здесь будет памятник!”

И вот – свершилось! Три гигантских, до небес, креста возвели в рекордно короткие сроки. У проходной верфи. В отмеченном каблуками

Валенсы месте.

Интерпресс пригласил зарубежных журналистов в Гданьск на торжества.

Едут все. Даже болгары.

Нас притормозило посольство.

Вместе с Лосото отправляемся к Птичкину.

Тот стучит кулаком:

– Культпоход на их спектакль устраивать не будем!  
И учтите: если кто...

– Не надо пугать! После того, как я... на лодке... из  
Москвы до

Архангельска...

Птичкин смотрит на меня ошалело: какая лодка?  
при чем здесь

Архангельск?

Из посольства едем к тассовцам.

Федя виновато улыбается: вечером он уезжает в  
Гданьск. Мы остаемся...

Столпотворение у проходной верфи пришлось смотре-  
ть по телевизору.

В Союзе его не показывали.

Олег ездил в Москву. Вернувшись, рассказывает:

– Прихожу в редакцию. Останавливают, спрашивают:  
как там?

Рассказываю, а кадровик подходит и стучит по плечу.  
Вы, говорит, польских митингов не устраивайте.

А Польша захлебывается пьянящим восторгом протеста.

– Мы насчитали двадцать типов забастовок, – делится Петрович. И загибает пальцы: – Предупредительные – раз, оккупационные – два, суточные – три, студенческие, итальянские, сидячие, читательские...

В Интерпрессе нас донимают:

– Где же ваши репортажи, панове?

Время коротаем на Литовской.

Под дробь телетайпов строим из себя джеймсов бондов.

Петровичу надоедает наш треп, и он отрывается от донесений:

– Между прочим, в Ченстохове сейчас...

– Что? – кидаемся к нему.

– Стакан красного.

В родных пенатах наконец стали публиковать мои обглоданные, как косточки, заметки.

На проводе объявилась Вера, старшая стенографистка:

– Толя, с тобой Новиков хочет переговорить.

– Пора начинать! – трубил Николай Григорьевич. – Выбери завод.

И чтоб был передовой. Ты понял?

Не без труда отыскал фабрику, которая не бастовала.

Спрашиваю у пана директора:

– Что было для вас самым важным в последние дни?

Пан отвечает:

– Чтобы фабрика выпускала продукцию.

Вставляю в репортаж.

Интересно, думаю, поймут? Догадаются, что здесь творится, если главное для фабрики – работать?

У Ларька свои заботы.

Отплясав на выпускном балу, Оксана уехала в Москву и поступила в медицинский.

Освоилась быстро, а главное – выдержала испытание анатомичкой. Даже сфотографировалась на фоне кучи костей и сухожилий, бывших когда-то человеческим телом.

Живет – одна.

Ларисе приходят в голову ужасные сюжеты, и она каждый вечер звонит в

Москву.

– Ну что ты себя напрягаешь? – говорю я. – Она же разумный человек.

Егор тоже добавляет хлопот.

Мать не находит места, пока он – господи, уже в третьем классе! – гоняет мяч возле синагоги.

Как-то, вернувшись затемно, сообщил:

– Дядя Ян в “Солидарность” вступил. Мне Рысек сказал.

– И что? – Я сделал вид, что не удивился. – Они все в “Солидарности”.

– Дядя Ян там начальник, – продолжал интриговать сын.

Я ушел в гостиную и включил телевизор.

Мечислав Марциняк – сама непроницаемость – сообщал об очередном ЧП.

Побоище в автобусном парке. Водители, вступившие в "Солидарность", подрались с теми, кто не вступил. Милицию вызывали.

Может, им маршруты делить? Одни – для членов "Солидарности", другие

– для остальных.

Хотя "остальных" все меньше и меньше.

Еду в Карлино.

Там на буровой выстрелил и загорелся фонтан нефти.

Пожар тушили месяц. Наши приехали – из Полтавы.

Спрашиваю у них, не было ли напряженности. Как-никак, а большинство коллег – в "Солидарности".

Нет, отвечают, делом занимались.

На пожаре не до политики...

Пожар их заинтриговал: может, там много нефти?

Она им ох как нужна! Та, которой пользуются, почти на сто процентов

– наша. А тут – вдруг да своя!

Посольские зауважали журналистов.

Раньше терпеть не могли: бездельники, на службу не ходят, в машинах разъезжают...

Теперь зазывают. Наливают. Расспрашивают.

По заводам, где все течет и все решается, дипломатам ездить не с руки. Вот и пытаются нас. Даже Птичкин не брезгает.

– Пригласили в комитет “Солидарности”, – рассказываю о поездке в

Познань. – Во всю стену лозунг: “Правду, только правду, ничего, кроме правды!”

– Сколько там в “Солидарность” записалось? – интересуется Птичкин.

– Девяносто процентов.

– Многовато.

– Потом в цех повели.

– На митинг?

– Ага. Секретарь парткома пытался что-то сказать – не дали. Выступил активист “Солидарности”.

– Фамилию не записали?

Я качаю головой, а сам думаю, как мальчишка: “Фиг тебе”.

– Жаль. – Советник расстроен.

– Там такая толчея! Целое представление устроили.

– Какое представление?

– Активист в толпу бумажку передал. Потом – другую. Спрашивает:

“Прочитали?” – “Да!” – кричат. “Нужна вам такая партия?” – “Нет!”

– Что за бумажки?

С затаенным злорадством приступаю к подробностям:

– В Познани жил знаменитый ученый. Одинокий. У него был особняк на улице Коперника. Умирая, он заве-

щал его детскому саду. Копию завещания и показали на митинге.

– А вторая бумажка?

– Из ЖЭКа.

– Зачем?

– Из нее следует, – смотрю советнику в глаза, пытаюсь ухватить реакцию, – что в особняке проживает дочка первого секретаря воеводского комитета партии.

Птичкин невозмутим...

Спрашиваю потом у Сани:

– Как думаешь, передаст он в Москву про особняк?

Саня загадочно улыбается.

А меня интересует: откуда у “Солидарности” документы – копия завещания, лицевой счет?

Петрович удивляется моей наивности:

– У них же везде агенты!

Снова пертурбация в верхах: Каню сменил генерал Ярузельский – сухопарый, лысеющий, с красными, как у грудного ребенка, щеками, в несменяемо черных очках.

Тут же назвали Пиночетом.

“Пиночет” обращается к народу:

– Дайте нам девяносто спокойных дней.

Страна не слышит: бьется в горячке забастовок.

Мораторий нереален. Чуть что – “Солидарность” объявляет: забастовочная готовность!

Угроза всеобщей забастовки – как пистолет у виска.



Министр финансов закатывает истерики: каждый пятый злотый не имеет товарного покрытия.

Пустили в оборот новую купюру – пять тысяч.

Я ёрничаю:

– Скоро вам некого будет рисовать на ассигнациях. Иссажнет список великих поляков.

– Это ты, брат, загнул, – не соглашается Десантник.

– Да и те, что есть, подозрительные.

– Как?

– Мицкевич на самом деле кто? Мицкявичюс. Как там у него? “Литва – родина моя”. Коперник – из Пруссии, Шопен – наполовину француз.

Десантник мрачнеет:

– Хочу тебя предупредить, Анатолий. По старой дружбе. Не говори этого поляку, у которого нет чувства юмора.

– А тебе можно?

– Мне можно. – Он подмигивает и становится похожим на папашу Мюллера в исполнении артиста Броневого.

В Москве родили формулировку:

**В РУКОВОДСТВО “СОЛИДАРНОСТИ” ПРОБРАЛИСЬ АНТИСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ.**

Представляю, как – ночью... элементы... крадучись... пробираются...

Употребляются также слова “ЯСТРЕБЫ” и “ЭКСТРЕМИСТЫ”: тоже пробравшиеся.

Сначала я избегал формулировок. Их вписывали в редакции.

Собирался позвонить, поскандалить, но – передумал.

Теперь заветные слова сами залезают в строку – по инерции.

При передаче возникают сложности.

Барышни телефонного узла, как и большинство трудоспособного населения, состоят в “Солидарности”.

Стоит мне вспомнить о “ястребах” и “экстремистах”, барышни принимаются за дело, и в трубке раздается невообразимый треск.

– Что? – надрывается Вера в Москве. – Ничего не слышу!

Кричу варшавской телефонистке:

– Пани, я этого так не оставлю!

Иногда помогает, чаще – нет...

Умер кардинал Вышинский, примас Польши.

80 лет. Рак.

Личность выдающаяся.

32 года у руля польской Римско-католической церкви.

Не знаю, существовал ли “культ Вышинского” (вся религия – культ), но его слово для миллионов поляков было непререкаемым.

Сложная жизнь.

При Беруте находился под домашним арестом.

В декабре 1970-го призывал верующих "к сдержанности".

По достижении 75 лет подал в отставку, но Папа ее не принял.

Умер на посту.

Когда Войтыла восходил на папский престол, все кардиналы подходили по одному, преклоняли колени и целовали новому понтифику руку.

Вышинский тоже попытался, но Святейший сделал для него исключение.

Сам поднялся с кресла и подхватил. Так они и стояли обнявшись: учитель и ученик.

Из афоризмов Вышинского:

"Маленькие революции рождаются в больших очередях".

Хоронили в Варшаве. Людское море...

Фестиваль советской песни в Зелена-Гуре прошел под знаком поставленного "Солидарностью" вопроса: откуда у организаторов деньги?

Преимущество нового профсоюза: им достаточно ставить вопросы. Пока...

Все больше задумываюсь над тем, а профсоюз ли это?

Больше похоже на партию.

В редакциях газет, на радио, телевидении много членов

“Солидарности”. Особенно среди технических работников. Корректоры, секретарши, операторы, осветители, шоферы...

Богдан вздыхает: может положиться всего на несколько человек. Его пугает возможное применение силы. Говорит, будет страшнее, чем в

Венгрии.

С 14 по 20 июля – заседание чрезвычайного съезда партии. У нас был съезд победителей. А у них? Победенных?

Главный вопрос – сколько можно отсиживаться в окопах? Ответа не нашли. Резолюций много, а что делать – не ясно.

Замечательно выступал на заводе глава нашей делегации Гришин.

Обстановка для него – непривычная. Ни зала, ни президиума, ни транспарантов о “нерушимой дружбе”, ни оваций. И вообще – никакого порядка.

Собрали в парткабинете узкий актив. Человек двадцать.

В речи Гришина – ни слова о “Солидарности”. Нет ее, и точка.

Я пристроился на подоконнике.

Внизу, во дворе, толпятся рабочие с бело-красными повязками на рукавах. У них, как и везде, забастовочная готовность.

Предложить бы Гришину к ним спуститься. Поговорить. По душам. А?

Мясо, колбасы, другие продукты продаются по карточкам.

Нормы – в очередной раз – снижены.

Народ – на грани паники. Призрак голода.

В Лодзи – марш голодных. В основном женщины. Стучат металлическими тарелками:

– Накормите наших детей!

Зрелище – не для слабонервных.

Власти обвиняют “Солидарность” в нагнетании страстей.

Масса листовок возле штаб-квартиры “Солидарности” на Шпитальной.

Никакой цензуры! “Новости дня” – те, которых нет в газетах.

Обращения, воззвания, карикатуры, ультиматумы...

Стоят. Читают. “Заряжаются”.

Прокуратура запрещает издание одного из бюллетеней “Солидарности”: за “оскорбление чести и достоинства партийного руководства и антисоветскую пропаганду”.

В ответ – призыв бойкотировать официальную прессу. Проще говоря – не покупать.

Спускаюсь в киоск.

– Из газет, – отвечает Болеслав, – только “Трибуна люду” и “Жолнеж вольнощи”.

– Очереди были с утра?

– Какие очереди, пан редактор! Штук по десять продал – и все.

Вроде убыток, но Болеслав, чувствуется, доволен.

Возвращаюсь из Интерпресса. Навстречу Ларёк бросается:

– Егор пропал!

– Где?

– Пошел гулять и пропал.

– Гражине звонила?

– Рысека тоже нет.

Пулей вылетаю во двор.

Забрызганный веснушками Яцек дает показания:

– Они убежали.

– Куда?

– На Маршалковскую. Манифестацию смотреть.

Возвращаюсь звонить в милицию.

Лариса встречает у лифта:

– Слава богу, нашелся.

– Где он?

– В кабинете. Пишет.

– Что?!

Сын сидит за столом и, облизывая губы, водит карандашом.

Беру листок. Читаю:

В половине 5-го, играя во дворе, я увидел группу, выходящую из костела со знаменами "Солидарности". На Маршалковской началась запрещенная демонстрация контрреволюционистов.

Потом прибыл спецотряд милиции. Он был в щитах, шлемах и комбинезонах, с оружием для метания газа. Увидев их, демонстранты раскололись на мелкие группки и стали отступать. Часть из них прорвалась на балкон магазина "Сезам"...

– Мы с Рысеком все видели, – шмыгает носом. – Может, тебе пригодится?

Ну что поделаешь с этим неистовым репортером?!

Вечером звонит Кирилл:

– Товарищ Нормально! Сообщаю для сведения: мы решили отправить детей домой.

– Кто это вы?

– Все! Чехи, немцы, венгры, мы. А вы что – не в курсе? Нам в посольстве сказали: в "Солидарности" недовольны, как мы о ней пишем.

И вы – в том числе. Грозят брать в заложники детей. Такие пироги, пан Нормально.

Еду в партком.

– Был слух, – подтверждают, – но невнятный.

– Почему не сказали?

– А если провокация?

– Что же нам делать?

Секретарь морщится:

– Соберитесь, обсудите. Наше мнение: похоже на провокацию. Лучше бы не поддаваться.

Первым берет слово Саня:

– Нас хотят запугать. Предлагаю: все остаются в Варшаве.

Детей с ним в Варшаве нет.

Партийцы молчат.

Прокофьев – отец двух дочерей, они-то как раз здесь – бормочет:

– Надо подумать.

Лосото предлагает голосовать.

– Только не втемную, – спохватывается Саня. – Открыто.

Решаем оставить потомство при себе. Единогласно.

К приему по случаю Октября готовились тщательно.

Вышло скомканно.

На прием пригласили весь варшавский бомонд. Обе стороны

Бельведерской заполнили номенклатурные самоходки.

“Ястребы” и “экстремисты” отсутствовали: посольство их в упор не видело. Лишь Анджей Вайда – “человек из протеста” – со значком

“Солидарности” ходил меж столов, как одинокий волк.

В залах не смолкал гул.



Щупающе делятся мнениями. Хозяева пытаются определить, в состоянии ли гости удержать ситуацию. Гости стремятся понять, придут ли

“хозяева” на помощь.

Более существенная проблема дала о себе знать быстро.

До посольства уже долетели веяния из отечества: там объявили беспощадную войну зеленому змию.

На ломившихся от закусок столах с нелепым чучелом фазана посередине сиротливо стояли несколько бутылок вина. И – все!

Обычно на таких приемах не столько ели, сколько пили. Причем – водку. В неограниченных количествах.

Под занавес – песни, объятия, поцелуи, пьяные слезы, страдания в туалетах, возлежания на диванах...

И вдруг – ни грамма!

Прием начинался в шесть.

– До девяти продержимся, – прикидывал посол, – и будет нормально.

К семи залы стали катастрофически пустеть.

К половине восьмого все было кончено.

Редкие фигуры “совков” подпирали нетронутые столы.

Мы с Костей цедили каберне.

Подошел Птичкин.

Болтали о пустяках, футболе, вспоминали анекдоты и неизбежно подобрались к событиям.

Советник неожиданно спросил:

– Если дойдет до обострения и здесь появятся чехословацкие войска, как поляки к этому отнесутся?

Я оторопел:

– Почему чехословацкие?

– В шестьдесят восьмом поляки чехам помогали отстоять социализм.

– Наши тоже помогали.

– Давайте про чехов. Вы считаете, поляки будут сопротивляться?

– Безусловно, – отрезал Костя.

– Да? Ну-ну. – Птичкин приподнял бокал с боржомом и раскланялся.

Обычно из Москвы специально на прием приезжал большой начальник. На этот раз им был Тяжелников, бывший комсомольский вожак, ныне заведовавший партийной пропагандой.

Он попугайчиком впорхнул в зал и дружески подмигнул:

– Ну что?

Народ ожидающе подался вперед:

– Споем!

И тренированно затянул:

Не расстанусь с комсомолом,

Буду вечно молодым!

Никто не подпевал.

“Мало того, что не наливают”, – думал я...

Проснулся рано.

Голова не болела.

Москва объявилась с точностью английской королевы.

– Будем работать или...

– Или.

– Да-а? – разочарованно протянула Вера.

Я представил, как складываются сердечком ее губки.

– Ты же у нас передовик. Раньше мы сначала Нью-Йорк вызывали,

Лондон, Париж. А теперь приказано начинать с Варшавы. С Ермоловичем соединить?

– Не надо. Спросит – скажи, все нормально. Сегодня среда? Вызывай завтра. Что-нибудь придумаю, лады?

Город нахмурился. Посыпал первый снежок.

Я вышел на улицу – без идеи.

Снег падал с покорной обреченностью. Касаясь земли, он переставал быть собой и превращался в серую, податливую кашу.

Из пивной вывалилась компания.

Я сразу заметил Яна и удивился, вспомнив, как тот клеймил позором забегаловку.

Рукопожатие было преувеличенно крепким.

После секундного замешательства Ян спросил:

– Пара минут есть? Тогда подожди.

Отошел, что-то сказал приятелям. Те с любопытством посмотрели на меня и двинулись к трамвайной остановке.

– Пройдемся.

Мы вышли к скверу у Дворца культуры.

Ян изменился, возмужал, ожил.

Продуваемая с четырех сторон площадь обнимала Дворец.

– Я понимаю, почему ты не звонишь. Я и сам...

– Из академии ушел? – спросил я.

– Ушли, – засмеялся Ян.

– Чем занимаешься – в своем профсоюзе?

– Какой он мой! – Ян с досадой поморщился. – Всех поляков! Ты еще этого не понял? А занимаюсь связями с общественностью. Из ваших звоню только пану Федору. Остальным – бесполезно.

Ян закурил. Спросил – с укором:

– Все про “ястребов” пишете?

– Дело не в “ястребах”. Вы хотите взять ответственность за страну, а куда ее подталкиваете?

– К нормальной жизни.

– Грозите всеобщей забастовкой, но это же гражданская война!

– Войны не будет.

– Не уверен.

– Поляки договорятся. Лишь бы вы не помешали.

Ян посмотрел на часы:

– Извини, мне пора.

– Гражине привет.

Он зашагал в сторону Шпитальной.

...В 1998-м я окажусь в Варшаве. Позвоню.

Трубку поднимет Рышард:

– Отца нет.

– А где он?

– Умер.

– Когда?

– В прошлом году.

– Он болел?

– Рак легких.

– Мама дома?

– В Опаленице, у бабушки...

Контактировать с вождями “Солидарности” нам по-прежнему запрещено.

За исключением Калюжного. Вожди “Солидарности” к Федору привыкли.

Говорят: “Рудый с ТАССа”.

Главные свои посиделки они проводят в Гданьске. Там их альма-матер.

Соберутся и пугают власть.

Решают, объявлять всеобщую забастовку или не объявлять.

Естественно, за закрытыми дверями.

Журналисты – в ожидании – толпятся в холле.

Федя коротает время, беседуя с Джорджем.

Вдруг появляется Валенса. Подходит, спрашивает: ну как, панове, объявлять или повременить?

Джордж мнется. Федор говорит: “Я бы не стал”.

Валенса разворачивается, возвращается на заседание и объявляет:

– Коллеги! Я только что двух журналистов спрашивал насчет забастовки

– американца и Рудого с ТАССа. Оба не советуют.

Заканчивается ноябрь.

В командировки в одиночку не ездим. Обычно – вчетвером. Олег,

Петрович, Глеб и я.

Десантник шутит:

– Банда четырех.

В Катовицах – встреча с тамошним первым секретарем.

Много опереточной конспирации: долго куда-то едем, идем по коридорам, попадаем в комнату, не похожую на кабинет.

Член Политбюро, а выглядит...

Мрачен. Подавлен. Кажется, после вчерашнего.

– Куда вы, – спрашивает, – смотрите?

– А что делать? – интересуется Олег.

– Кран перекройте!

Я не понял.

Петрович объяснил, когда возвращались:

– Он имеет в виду нефтепровод “Дружба”.

Час от часу не легче.

Оккупационная забастовка слушателей Высшей школы пожарных. Хотят выйти из подчинения МВД. А пока – забаррикадировались.

Спецназ атакует здание с воздуха. Над крышей – вертолет.

Внизу – толпа. Кто-то кричит: “Убийцы!”

“Солидарность” намечает 17 декабря провести всеобщую забастовку.

А заодно – референдум о смене власти.

Не пойму, как это совместить – забастовку и референдум.

4 декабря. Сенсация!

Радио передает запись... секретного заседания лидеров “Солидарности” в

Радоме.

Многие удивляются не тому, что там было сказано, а тому, как

“безпека” записала разговор. Значит, среди вождей кто-то стучит?

Валенса взволнован, речь сбивчива:

– Конфронтации не избежать... Я думал, мы еще продержимся, и тогда нашими станут и сейм, и рады. Но

эта тактика уже неприемлема... Когда меняется строй, без ударов не обойтись.

В Варшаву слетелись очень специальные корреспонденты.

Такие же журналисты, как Папа Римский – атеист.

В Интерпрессе, где яблоку негде упасть, сменилась аура.

Десантник перестал шутить.

Западные журналисты кучкуются в одной стороне, мы – в другой.

По вечерам бурлят пресс-конференции.

Ведет их похожий на телепузика представитель правительства Урбан, в недавнем прошлом – знаменитый фельетонист: короткое туловище, шар головы, растопыренные уши.

Вытянув ноги-ходули, спецкор из Лос-Анджелеса спрашивает тоном следователя:

– На вашей восточной границе замечено передвижение войск. Не получится ли так, что завтра в Польше появятся советские солдаты?

Пока переводчик переводит, подает реплику Глеб.

И будто бомба разорвалась:

– Они уже здесь.

Все поворачиваются в его сторону.

Долгушин – переварив паузу:

– Шестьсот тысяч! Лежат в этой земле!

Поздно вечером я заехал в посольство.



Устроенный Глебом шурум-бурум взволновал Птичкина: он жаждал подробностей.

Возле приемной посла я увидел дремавшего на диване подполковника.

Это был не наш, а польский подполковник.

Домой вернулся поздно.

В телевизионных новостях передали: "Солидарность" решилась. На 17 декабря назначена всеобщая забастовка.

Комментарий из Гданьска – в сторону властей: это действительно будет ваш последний бой!

Заглянул в комнату сына: тот смаковал седьмой сон.

Лариса вздыхала:

– Ксанка не отвечает.

Шел первый час ночи.

Начинался новый день – воскресенье, 13 декабря 1981 года.

Я не мог уснуть. Не выходил из головы подполковник. Наконец вспомнил:

"Это же адъютант Ярузельского! В такое время? Зачем?"

И провалился...

Злополучная простата выдавила из сна.

Часы на стене рапортовали:

– Полшестого!

Тусклый свет фонарей проявлял пустое заснеженное рондо.

Подошел к столу и поднял трубку.

Телефон молчал.

Включил телевизор.

По экрану пробежала рябь, затем выплыл Яру-зельский с поджатыми губами. На фоне флага, при полном параде и в обычных очках. Спину держал – словно циркуль проглотил.

“Что за трансляция? Почему в такое время?”

Генерал ответил:

**С НУЛЯ ЧАСОВ В СТРАНЕ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.**

Я поймал себя на мысли:

“Путчи, перевороты, чрезвычайные положения устраиваются в ночь с субботы на воскресенье. А тут еще тринадцатое число!”

Генерал перечислял меры:

...вводится комендантский час, запрещается передвижение по стране, прерывается работа почты, телеграфа, телефона,

**ИНТЕРНИРОВАНЫ...**

“Это интересно”.

...Герек, Ярошевич, Бабюх, Лукашевич...

...Гвезда, Геремек, Куронь, Михник, Мазовецкий...

Взяли и тех, и других! А где же Валенса? И потом – что значит интернированы? Побоялись слова “арестовать”?

На экране появился Марциняк.

Военная форма была ему к лицу. Представил, как выглядел бы в мундире диктор Кириллов.

Не смешно...

Стараясь не шуметь, вышел на улицу. Ни души.

На углу темнела будка телефона-автомата.

Подняв трубку, спохватился.

Дома спешно засобирался.

Жена, кутаясь в халат, запричитала:

– Куда же ты поедешь?

– На Литевскую, там должны работать.

– Телетайпы наверняка отключили.

В гараже за окошком мелькнула испуганная физиономия Тадеуша.

Первый пост обнаружился на Лазенковской трассе.

Солдат в каске двинулся от бронетранспортера с "калашниковым" наготове. Подошел вплотную, пригнувшись, уставился в номер, затем махнул жезлом.

На площади Люблинской Унии офицер козырнул, попросил документы.

– Проше, откройте багажник.

Закончив осмотр, бросил:

– В порядке.

На Литевской тарахтели телетайпы.

– Не отключили?

– Не-а. – Петрович расплывался до ушей. – Рейтер отключили в пять минут первого. Дали сообщить – и все. А нам – зеленый свет.

– Какие новости?

– На Шпитальной заваруха.

Это рядом. Пошел.

На Шпитальной толпа жалась к штаб-квартире “Солидарности”. Здание оцеплено. У ворот – десяток “воронков”.

Кто-то запел:

– “Еще Польша не згинела...”

Истеричный крик:

– Лех жие!

– Со-ли-дар-ность! Со-ли-дар-ность!

Отчаянные перелезают через ограду. Парень без шапки бросает кому-то в толпе:

– Чему улыбаешься, паскуда!

Полушепотом – обмен информацией.

– Зелинский выбросился с третьего этажа.

– Кто такой Зелинский?

– Буяка не взяли. Его вывез в багажнике французский журналист.

– Неужели Бернар?!

– Про Куроня слышали? За ним пришли, а он спрашивает у офицера: “Ты поляк?” Тот кивает. А Яцек руки за спину и смеется: “Все в порядке.”

Поляки еще ни одного дела до ума не доводили”.

– Где же Валенса? Почему они, курвы, молчат?

– Лех жие!

Спецназовцы выдвигаются вперед: каски, шлемы, бронежилеты, пики.

В милиционеров летят камни.

Толпу оттесняют к площади Спасителя.

Истошный вопль:

– Спасите!

– В костел!

Храм рядом, на пяточке – стройный, высокий. Массивные двери распахнуты.

Несколько минут – и улица обезлюдела.

Вечером в Интерпрессе обступили Десантника.

– Пан капитан!

Эмиль – в военной форме – пытается шутить:

– Положение обязывает.

Кто-то дергал Бернара за лацкан:

– Ты загрузил Буюка в багажник?

Нервно хохочет.

Петрович объясняет:

– Буюку специально дали уйти. Чтоб держать под контролем подполье.

Не было в Польше человека, который бы не думал, что должно что-то случиться. И вот случилось – и все потрясены.

На пресс-конференцию пришел помощник Ярузельского.

– С паном Валенсой все в порядке.

– Где его содержат?

– Об этом сообщат. В свое время. И вообще, панове, вас должно интересовать не то, что случилось в Польше, а то, чего в Польше не случилось.

В понедельник народ потянулся на работу.

Танки на улицах обходят не замечая.

За ночь соскребли настенную агитацию. Листовки заменили одним-единственным плакатом. Куда ни глянь – “ПОЛЬСКОЕ РЕВЮ НА ЛЬДУ”.

Все, как по команде, сняли значки “Солидарности”.

Ни взрыва, ни восстания...

Совет национального спасения постановил: каждому поляку – рождественского карпа!

На рынках вовсю торгуют елками.

По радио передают военные марши.

По телевизору крутят старые фильмы.

Днем я заехал в школу, дождался сына и, живого и невредимого, доставил домой.

Прогнозы о баррикадах и восстании – не подтвердились.

Протесты – в первые два дня – были.

Шахту “Витек” штурмовал спецназ. Девять убитых.

Как ни кощунственно звучит, это – на всю страну – немного.

Еще на двух шахтах горняки три дня протестовали: оставались в забое.

Их уговаривали – сверху:

– Поднимайтесь. Польша уже не бастует.

Шахтеры не верили.

Когда поднялись, поняли: их никто не поддержал.

Может, и в этом – народная мудрость: не подставлять голову?

Новость – как снег на голову. Сообщил Петрович – кто еще!

– Глеба отзывают.

– Почему? За что?

Конечно, он был неосторожен, наивный шестидесятник. Ладно бы при поляках, а то при своих нахваливает “Солидарность”.

Найти повод, чтобы отозвать, – раз плюнуть.

На заседании парткома секретарь предложил утвердить характеристики тем, кто покидал польские пенаты.

Рутинное дело. Утверждали списком: характеристики были стандартными.

Глеб сам начертал оду себе, любимому, и доставил мне. Я подписал и отвез на Бельведерскую.

Секретарь парткома скучно перечислял фамилии. Когда добрался до

Глебовой, вскинул голову генерал в штатском.

Шеф инспекции – в молодости его посылали “не-легалом” в Штаты, он был на связи с супругами Розен-

берг, казненными за шпионаж, – обычно молчал, а тут вдруг заговорил:

– Хотелось бы послушать.

Секретарь растерялся.

– У вас что, – спросил генерал, – ее нет?

– Почему же, – почти обиделся секретарь и полез в папку.

Одна фраза повторялась – из характеристики в характеристику – как индульгенция.

**“ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ВЫДЕРЖАН, МОРАЛЬНО УСТОЙЧИВ”.**

Услышав ее, генерал сказал:

– Я возражаю.

– Как? – испугался секретарь.

– Потому что это – неправда.

Члены переглянулись.

– Товарищ и не выдержан, и не устойчив.

Я напрягся.

– Что же делать? – Секретарь был растерян.

– Написать правду.

Дальше молчать было невозможно.

– Разрешите? – Я с трудом подбирал слова. – Возможно, Глеб

Алексеевич иногда... Но, поймите, это опытнейший журналист, автор нескольких книг. Если мы это запишем...



– Товарищ Друзенко. – Генерал смотрел не мигая. – Вы хотите, чтобы я отложил в сторону дела и занялся сбором доказательств, что Долгушин изрядно выпивает? А неразборчивые связи? Напомнить про библиотекаршу из Торунь?

– Итак, – встрепенулся секретарь, – характеристику подправляем. Нет возражений?

Возражений не было.

В Торунь мы ездили вчетвером. И с Эльжбетой, библиотекаршей Общества дружбы, был не Глеб.

Отвлекающее застолье, бородатые анекдоты, танцы до упаду...

Неимущие активисты Общества выставили домашнее вино, мы – водку.

Я танцевал с Эльжбетой, изображая роковое танго.

Она смеялась.

Не умолкала, пока бродили по городу Коперника.

В номере пожалел, что не осталось спиртного.

Вспоминал Окуджаву.

Как гладят, глядя в потолок,

Стыдясь себя...

Почему-то заговорил о Ровно.

Она оторопела:

– Ты украинец? О господи!

Рыдания, торопливые сборы...

Я ловил машину, а она, словно боясь не успеть, рассказывала.

В 1944-м их деревню под Жешувом вырезали бендеровцы.

Чудом спасшуюся, ее увезли в детский дом под Торунем...

Глеба проводили так, как будто ничего не случилось. Шумно, пафосно, слезливо.

Так и не поговорили...

Сижу без связи.

Но, как говорили беспартийные большевики, безвыходных положений не бывает.

Репортажи вожу тассовцам. Они перегоняют их по телетайпам в свою штаб-квартиру у Никитских ворот. Туда приезжает наш курьер и отвозит на Пушкинскую.

Собираем материал не поодиночке – гуртом. Западные коллеги с нами не ездят. У них свои источники. А мы грузимся в автобус и – в школу.

Там теперь – казарма и штаб.

В классных комнатах, коридорах, спортзале – солдатские койки в два ряда. В одном из классов разместился командир. На доске – карта Варшавы.

Как мог, описал эту картину. В редакции добавили. Через абзац -

“контрреволюция не прошла”, “армия с народом”...

Говорят, интернированных тоже разместили в школах. Но те классы не показывают.

Звонила Гражина. В истерике. Куда отвезли Яна, она не знает. Просит помочь. А что я могу?

Слухи – ужасные. Что держат на морозе. Не кормят. Пытают...

Судя по тому, что вышедшие потом на свободу об этих ужасах не вспоминали, слухи были преувеличены.

Позвонил Петрович, сообщил, что напечатали мой репортаж.

Странно. Я вроде не передавал.

Поехал в "Межкнигу". Купил газету.

Точно. На пятой полосе. "Верность идеалам". Подпись – "А. Друзенко, соб. корр. „Известий“". Сплошная трескотня.

Но я же этого не писал!

Наконец-то Москва на проводе. Звонкий голос Веры:

– Как ты?

– Соскучился.

Соединила с Ермоловичем. Хотел поскандалить, но уже перегорел.

Позвонил в Ровно.

Отец дудит в свою дуду:

– Когда ты оттуда уедешь?

О судьбе Валенсы молчат.

Но слухи гуляют. Якобы содержат под Варшавой, в пансионате. Условия

– комфортные. Регулярно предлагают коньяк, водку, виски – отказывается. Просят подписать бумажку, самую нейтральную, – не подписывает, дурачком прикидывается.

“Мне, – объясняет, – моя Данута всегда говорила, что я не такой умный, чтоб бумажки подписывать. Привезите моих советников. Я с ними посоветуюсь. А потом, может, и подпишу...”

Умер Гомулка.

Из похорон решили сделать демонстрацию. Показать мощь партийных рядов.

Не получилось.

Подполье, как и предсказывал Петрович, возглавил Буяк.

Все говорят о возможной забастовке.

Подпольное радио сообщило дату – 10 ноября.

На рассвете я объехал несколько заводов. С забастовкой у подпольщиков не вышло.

Вернулся в корпункт и сочинил репортаж. Через абзац – категорический рефрен.

...Наконец Москва.

Тороплю Веру, та – артачится:

– Может, не стоит?

– Как? Это же ждут!

– Да не нужно это, Толя, никому.

– Почему?

– Брежнев умер.

Я понимаю, что репортаж пойдет в корзину. И все-таки решаю диктовать.

Вера хихикает, когда я в очередной раз выдаю рефрен:

“ЭТО БЫЛ ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ”.

Главный чекист, сменивший героя Малой земли, показывал, что мести страну будет по-новому.

– В бане теперь не попаришься, – делился по телефону Олежка.

– Воды нет? – дурачился я.

Работавших за рубежами пропагандистов собрали в Москве.

Новиков звонил, кричал, загадочно советовал:

– Ты готовься! Чтоб как пионер, понимаешь?

Появившись в редакции, я отправился к Алексееву.

Осунувшийся, бледный, тот не видел меня и не слышал.

Перед самой кончиной Брежнев успел одарить Звездой шефа телевидения

– в связи с его семидесятилетием.

На вахту заступил Андропов, и 70 стукнуло Алексееву. Ему дали орден

Ленина.

Что-то это значило!

Алексеев встал, лунатиком прошелся взад-вперед и произнес:

– Пора уходить.

“Глупая ситуация, – маялся я. – Не говорить же: ни в коем случае!

Сказать: давно пора? Тоже вроде...”

– Успехов, – протянул салообразную ладонь Алексеев.

На совещании первому дали слово собкору “Правды” в Америке.

Я вздрогнул, услышав: “Приготовиться товарищу Друзенко”.

Вышел на трибуну.

Зал смотрел оценивающе. Ну, что скажет этот “поляк”? Какова – при новом Хозяине – граница допустимой откровенности?

Я взял быка за рога:

– Мы терпим в Польше поражение и пытаемся замолчать события, хотя это – наивно. Народ не зря частушку сочинил: “Есть забава на Руси – ночью слушать Би-би-си”.

Зал загудел.

В президиуме улыбавшийся секретарь ЦК наклонился к председателю КГБ.

Тот кивал.

Шутка прошла. Ее сочли согласованной, и как я ни божился...

А Петр Федорович Алексеев вздыхал не зря: его отправили на пенсию.

В газету вернулся Лев Николаевич Толкунов.

Через месяц он позвонил в Варшаву и весело прокричал:

– Анатолий Иванович, вы по Москве не соскучились?

Время собирать кадры...

# P.S.

То, что происходило в Польше, мы называли контр-революцией. И наводили тень на плетень.

Это была революция. Да, с поддержкой Запада, но главной движущей силой был народ. Поляки хотели жить по-своему.

Парадокс: военное положение, введенное для защиты социализма, привело к победе капитализма. Все по той же причине: этого хотел народ. Но сначала надо было упредить гражданскую войну.

Революцию просто ОТЛОЖИЛИ. Так шахматисты откладывают недоигранную партию.

Вскоре интернированных освободили, противники не взобрались на баррикады, а сели за "круглый стол".

Так закончилась первая "бархатная" революция.

Потом они прошлись по Восточной Европе, упразднив лагерь социализма, а теперь шагают по бывшим союзным республикам.

Одна – с ликованием пронеслась по проспекту Руставели, другая отбушевала на Майдане Незалежности, третья отметилась погромами в

Бишкеке.

Кто-то будет следующим. Если захочет народ...

А все началось с того, что летом 1980 года на Гданьской судовой верфи уволили крановщицу Валентинович.

Или – еще раньше?

И самое последнее.

Прожитые в Польше годы были для меня счастливыми. Несмотря на то что в душе осталось чувство вины и стыда.

Отсюда – название этих записок.

\* Прошу прощения (польск.).